

Марина Балуева



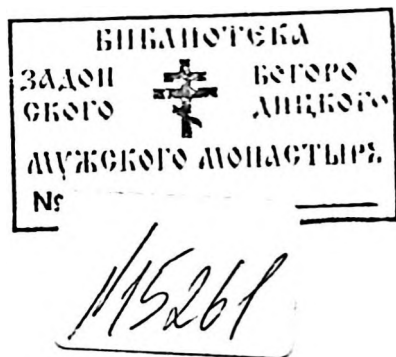
ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

(рассказы и повесть)

Марина Балуева

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

(рассказы и повесть)



Санкт-Петербург
«Издательство Русь»
2006

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

УДК 821.161.1-3

Б20

Марина Балуева
Час Вечерний
(рассказы и повесть)

Балуева, Марина.

Час вечерний: (рассказы и повесть) / Марина Балуева. - Санкт-Петербург: Русь, 2006. - 152 с.

"Каталогизация перед публикацией", РНБ

Радоваться всегда - призвание христианина. Но как удержать это чувство, если кругом - океан скорби, ложь в одеждах правды и ни в чем нет опоры для слабой человеческой души? Над этим вопросом размышляет автор предлагаемой книги, герои которой - простые прихожане, священнослужители, люди верующие или сомневающиеся. Творческий метод автора продолжает традиции русской классической литературы.

Два рассказа ("Дневной автобус на Колокольцы" и "Взошла звезда ясная") были ранее опубликованы в северо-западной православной христианской газете "Вера-Эском"

"Свет во тьме". Вступительная статья О.Б. Сокуровой, доцента кафедры истории зарубежной и русской культуры исторического факультета СПбГУ.

Отзывы о книге присылайте по адресу:

190008, а/я 101. E-mail: baluyeva@list.ru

ISBN 5-8220-0018-5

© Балуева М., Час вечерний

© Сокурова О.Б., Свет во тьме

© Карымов В., пейзаж "Зимний вечер в д. Вязикиничи"

© Карымов В., идея обложки и оформления

© ООО «Издательство Русь», 2006

СВЕТ ВО ТЬМЕ

Сборник петербургской писательницы Марины Балуевой, состоящий из трех рассказов и одной повести, свидетельствует о том, что духовный корень русской литературы вопреки всему жив и дает свежие побеги.

Творчество Марины Балуевой, с одной стороны, традиционно, поскольку ориентировано на изначально присущие нашей культуре каноны простоты, правды, добра и сосредоточено на неустанной совестливой работе человеческой души, ее борьбе с искушениями и грехом, ее устремленности к свету. С другой стороны, художественный мир писательницы в высшей степени современен: в нем можно найти множество узнаваемых примет самого последнего времени. Это жестокое вытеснение на край существования, а подчас и за этот край множества простых людей, привыкших честно трудиться и беззащитных в своей порядочности. Это стремительное обогащение других, хитроумных и беззащитных, неразборчивых в средствах борьбы за существование, их наглое самодовольное торжество, оскорбляющее глубоко заложенное в природе русского человека чувство справедливости. Это, как говорит писательница, "молчаливо-озлобленное забвение всех правил уважения к старости и снисхождения к слабости". Это одичание и пьянство мужчин, еще недавно крепких и уверенных в себе. Это грязная ругань и горькое бесстыдство потерявших человеческий облик женщин. Это утратившие былую гармоническую красоту деревни, где соседствуют вросшие в землю избушки и нелепые каменные хоромы "новых русских". Это петербургские дворы-колодцы, где гулким эхом отдаются то одинокие шаги, то дикие звуки современной музыки, то пьяные песни, то назойливый грохот новогодних петард. Это знакомые нам всем коммуналки, в которых еще более усилилось социальное и духовное расслоение, и одни по-соседски помогают друг другу, а другие с хищной

алчностью и беспощадностью отбирают комнаты у попавших в трудное положение стариков, женщин, детей, никому не нужных и никем не защищенных.

В книге Марины Балуевой зафиксированы все перечисленные и многие другие знаки беды, и явственно проступает в них уже не XX, а XXI век — еще более крутой виток человеческой истории. Однако в этой тьме, которая сгущается и в мире, и в стране, и в душах людей, как показывает писательница, все же светит непобедимый, неистребимый свет.

Да, страдания усиливаются, но эти страдания зачастую побуждают искать единственную спасительную дорогу к Храму. Автор книги — человек православный, и ее главные герои — люди, которые пришли к православной вере после долгого, в нескольких поколениях, перерыва духовной традиции, пришли уже взрослыми, путем проб и ошибок, путем внутреннего поиска истины. Это, прежде всего, иеромонах Никифор, настоятель небольшой церкви в деревне Колокольцы ("Дневной автобус на Колокольцы", "Час вечерний"). Это преподаватель одного из петербургских вузов Ольга Владимировна ("Взошла звезда ясная"). Это юноша Вася, на чьих руках оказались мать-инвалид и малолетняя сестренка ("Записка").

Автор отнюдь не идеализирует этих лучшие своих героев — у каждого из них свои духовные проблемы, свои искушения, И каждый показан в момент обострения "невидимой брани", без которой невозможна настоящая духовная жизнь, О. Никифор в рассказе "Дневной автобус на Колокольцы" пытается разобраться во внутренних причинах своей невесты откуда взявшейся тоски. В рейсовом автобусе, до отказа набитом измученными и озлобленными людьми, с ним вступает а разговор прихожанка колокольцевской церкви, оказавшаяся случайной попутчицей. Она рассказывает о трагической судьбе душевнобольного Антона, недавно наложившего на себя руки. Этот рассказ батюшка поначалу выслушал невниматель-

но, а потом, вникнув в него, вспомнил, что этот парень, чисто одетый, но какой-то заторможенной, однажды приходил к нему и спрашивал дорогу к ближайшему мужскому монастырю. Отец Никифор ответил на вопрос. Но ему показалось, что странный парень еще что-то хотел спросить, однако медлил. А тут машину с песком привезли, и неотложное это дело отвлекло священника. Кроме того, но монашеским правилам полагалось отмечать только на поставленный вопрос, ничем сверх того не интересуясь. Но ведь, быть может, отступи о. Никифор на сей раз от правил, взглядишь повнимательней в пришедшего к нему человека, расспроси его поподробнее о жизненных трудностях, не отвлекаясь на "неотложное" дело с разгрузкой машины — и не произошло бы непоправимого несчастья. Вспомнил о. Никифор и недавний свой сон, в котором Антон притягивал к нему просительно руки. Продолжая ход своих размышлений, о. Никифор признался себе, что в последнее время, подгибаясь под тяжестью нагрузок, он начал исповедовать "по правилам": не позволял прихожанам сообщать подробно обстоятельства, связанные с грехом, а требовал только называть грех. Но в результате исповедь многих стала формальной, стереотипной, и за ней трудно было разглядеть человека. "И уж совсем невозможно было что-то посоветовать, направить на истинный путь".

И священник нашел словно для определения своего внутреннего состояния: "Медь звенящая". Так были названы в одном из посланий Апостола Павла мнимые праведники, не имеющие любви в сердце своем. Он все делал по правилам, по закону и оправдывал себя своим законничеством. Однако в наказание за внутреннее равнодушие его покинула духовная благодать. Так в рассказе современной писательницы возникает внутренняя связь с самым первым произведением русской литературы — "Словом о законе и благодати" митрополита Илариона, в котором показано, что благодать Божественной любви неизмеримо выше закона,

И о. Никифор, который поначалу "по всей форме" отказал своей прихожанке в отпевании Антона, выслушав внимательно ее подробный рассказ, сказал; "Душевно-больного можно отпевать, только разрешение надо сначала спросить у преосвященного". И тепло простился с ней, назвав Валентинушкой. Началось исцеление души от временно сковавшего ее окамененного нечувствия. Казалось бы, автор книги идет на немалый риск, показывая в своих рассказах сложности и проблемы в жизни современной Православной Церкви, а подчас и ошибочное, неточное, невнимательное поведение ее пастырей. Но ведь это правда, от которой не уйти, и высказана эта правда не с чувством враждебности или отстраненности, не для того, чтобы бросить камень в Церковь-мать, а с глубокой любовью и болью.

Так, в рассказе "Записка" молодой человек по имени Вася идет в храм, чтобы заказать молебен о здравии своих близких и о даровании заработка — он остался единственным кормильцем в семье, а работу все никак не удавалось найти. Но, по словам свечницы, Васина записка была оформлена неправильно: в ней, по сути, содержался заказ не на один, а на три молебна — Божией Матери, святителю Николаю и мученику Трифону. Дело было улажено, когда Вася, поняв, что от него требуется, оплатил записку в трехкратном размере. Он отдал последние деньги, предназначенные на хлеб, поскольку сознавал, что молитва, обращенная к Богу через священника, важнее хлеба. Однако этот самый священник — молодой, хорошо образованный и уверенный в себе батюшка — Васиной записку не прочел. Как объяснил он потом огорченному юноше, в записке было еще одно «нарушение»: просьба о даровании заработка, которая была расценена высокоумным иереем, как нежелание нести свой крест. Впрочем, согласие отслужить молебен он все-таки дал, но потребовал, чтобы Вася его дождался. Ожидание оказалось долгим и стало настоящим испытанием для молодого человека. В нем росло чувство

обиды. Он видел, как тот самый священник, который говорил с ним повышенным тоном, долго и приветливо беседовал о чем-то с хорошо одетой молодой прихожанкой. Некий вкрадчивый голос подсказывал решение: попросить прощение у свечницы, у батюшки, у прихожан и уйти восвояси. Внешне это было бы "по-православному". Было и иное сильное искушение — уйти, чтобы никогда уже больше не возвращаться в церковь. Мы становимся свидетелями напряженнейшей внутренней борьбы. И Вася оказался в ней победителем: помолившись Божией Матери, он преодолел обиду и усталость, дождался таки молебна, во время которого в душе его воцарился радостный и тихий мир. Преподобный Серафим Саровский говорил: "Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи спасутся возле тебя". Мирный дух, который снизошел в сердце молодого прихожанина, оказал благодатное воздействие и на молодого священника: в нем произошел какой-то необходимый сдвиг, и он внимательно, с теплым чувством глядел Васе вслед.

Благодатное тепло коснулось и охладевшего усталого сердца Ольги Владимировны, героини рассказа "Взошла звезда ясная". Вот что мы узнаем о ней: "Она всю жизнь училась и учила и ко всему в жизни подходила серьезно и методично. Став верующей в результате цепочки умозаключений, ...она, тайно крещеная бабушкой в детстве, стала теперь добросовестно стараться выполнять все требования, предъявляемые к христианской жизни. Здесь были свои законы: семья должна быть дружной, должны соблюдаться посты. должна твориться общая молитва, и самое главное, нужно всех прощать и прощение это должно иметь сверхъестественную силу укротить всякую злобу вокруг. Такой образ идеальной христианской жизни она усвоила из того, что читала или слышала по данному вопросу".

Не случаен этот сухой канцелярский язык, каким описывается в повести внутреннее состояние Ольги Владимировны. Теоретическое представления решительно не

совпадали с жизненной практикой, с теми из ряда вон выходящими условиями, в каких оказалась Россия в ХХI веке. Вместо правильной христианской семьи Ольга Владимировна имела нечто несуразное: муж потерял работу, стал пить и опускался на глазах, чем раздражал ее; сын неудачно женился, и дело пахло разводом; девочкам-близняшкам не хватало нормального питания. Конечно, как преподаватель философии, Ольга Владимировна могла бы брать деньги с обеспеченных студентов за более высокие оценки или продвижение в аспирантуру, но почему-то отказалась идти по этой проторенной дорожке: не хотела вступать "в мутную круговую поруку купли-продажи того, что не может быть куплено или продано". Подрабатывать в свободное время уборщицей подъезда в соседнем доме представлялось ей делом куда более чистым. Но и здесь ее обманывали, унижали недоплатами.

Жизнь виделась непоправимой, безысходной в своей суетности и тщете. Но Ольга Владимировна терпела, и это простое некнижное претерпевание своей судьбы, это сохранение старомодной порядочности среди корысти и лжи, эта способность сострадать чужой беде (Ольга Владимировна заботилась о сыне попавшей в больницу соседки) — все это было неожиданным образом вознаграждено к самому концу Рождественского поста. То, что казалось непоправимо безнадежным, с Божьей помощью начало разрешаться, в жизни появились маленькие, но добрые сдвиги: соседка хорошо перенесла операцию; к обнаглевшему зарвавшемуся соседу-торгашу приходила милиция; муж, протрезвев, починил холодильник; сын с женой обещали прийти на праздничный обед. И в рождественский сочельник посетила душу тишина, "взошла звезда ясная", а в самый день Рождества, после Божественного причастия, печаль окончательно "словно смыло с души", и воцарились в ней любовь и радость. Словно Сам Богомладенец Христос сошел в нее, как в бедные ясли, и осветил Своим Светом.

В повести "Час вечерний" Свет Христов озаряет перед самым концом душу совсем пропащего, казалось бы, человека — Генки Вяхирева, пьяницы и вора. История его падения (типичная, надо сказать, история) подробно прослежена в повести. У этого Генки, деревенского дурака, был умный троюродный брат, Григорий Матвеевич Вяхирев. В славном городе Питере сделал он впечатляющую научную карьеру, создал благополучную на первый взгляд семью. Его супруге Наталье Максимовне в повести уделено особое внимание. Она была воспитана двоюродной теткой, занимавшей значительный пост в одном из престижных вузов, в духе "здорового" прагматизма. И потому в советские времена Наталья Максимовна быстро выбилась "в люди", с энтузиазмом изучая метод социалистического реализма, а в перестроечной смуте она тоже осталась на плаву, вспомнив про свои дворянские корни и посещая известного в городе батюшку, к которому не так-то легко было попасть — этой привилегии усиленно добивались известные политики, бизнесмены, актеры. Оказавшись в избранном кругу, Наталья Максимовна почувствовала себя на своем месте — главным для нее было не затеряться, не пропасть среди так называемых "маленьких людей". С ними она, впрочем, любила вести душеполезные беседы и при всяком удобном случае умела использовать их для своих выгод и ближайших житейских нужд. И беспутный, но сноровистый в работе Генка, и тихая, сообразительная, помощливая девочка из неблагополучной семьи Оля Лукина, и соседка по деревенскому дому Маргарита Васильевна Быстрова — жена адвоката, завуч какой-то престижной питерской гимназии, — все эти совершенно разные люди превращались в средства для достижения Натальей Максимовной собственных маленьких или больших целей.

Превращение человека всего лишь в средство удовлетворения чьих-то эгоистических потребностей или реализации наполеоновских планов с тревогой отмечалось

еще классиками русской литературы как один из главных признаков отступления человеческой цивилизации от Христовых заповедей. Подобное свойство, выделенное в образе современной женщины, которая на каждом шагу декларирует свою веру, побуждает читателя очень сильно усомниться в истинности и искренности этой веры.

"Питерские" Вяхиревы умели красноречиво рассуждать о судьбах русской государственности, о богатстве русского языка и стихии русской души, о покаянии и смирении, о грехе и соблазне. Но они сломали в своем деревенском доме русскую печку. Они стремились присвоить чужую старинную икону. Они делали себе послабления в посте, определив тех, кто ведет строгую христианскую жизнь, в разряд фанатиков. Они стремились — воспользуемся здесь остроумной формулой Достоевского — "и невинность соблюсти, и капитал приобрести": горячее сочувствие народным страданиям и душеполезные беседы не мешали им брать не менее сорока долларов в час за подготовку абитуриентов в свой престижный вуз. И не случайно их "головная боль" — их средняя дочь Светка делала все, чтобы подмочить родительскую репутацию: выкидывала при посторонних немыслимые номера, вызываясь одевалась, по-клоунски себя раскрашивала, вовсю прогуливала занятия и даже начала "баловаться" наркотиками. Можно сказать: в семье не без урода. Но можно копнуть и поглубже: "правильные" Вяхиревы не по правде живут.

В повести "Час вечерний" есть напоминание об одном из мудрых поучений аввы Дорофея: можно лгать мыслью, можно лгать словом, а можно лгать всей жизнью своею. Вяхиревы лгут всей своей жизнью, и лгут прежде всего самим себе. Называя и считая себя православными, они живут по законам века и мира сего, в корне противоположным и враждебным Православию. Эти люди фарисейски уверены в своем духовном благопо-

лучии, и оттого-то духовное их состояние весьма прискорбно, если не безнадежно.

А вот "пропаш-ший" их сродник Генка Вяхирев, при всех его безобразиях, все-таки не был, как выяснилось, вычеркнут из Книги живых — быть может, именно потому, что "не умел жить", не умел ловчить и выгодно для себя использовать ситуацию или другого человека. Стыдно ему было самого себя, и многое он понимал и видел правильно. И когда пробил "вечерний час" его жизни, оказался Генка делателем этого последнего, одиннадцатого часа, и стал он похож на евангельского благоразумного разбойника. Наверное, произошло это чудо по молитвам покойных деда и бабушки, принявших страдание за Христа, которых вспомнил он вдруг в конце пути, и по молитвам замечательного колокольцевского батюшки отца Никифора, привлекшего Генку к немудреным работам для деревенской церкви. Ему-то однажды, незаметно внутренне созрев, и исповедовался Генка за всю свою беспутную горемычную жизнь, и его искренней слезной исповеди посвящены лучшие страницы книги. Рассказ об этом событии глубоко трогает, потрясает и очищает душу.

Книга петербургской писательницы Марины Балужевой, при всей ее честной горечи и боли, тем не менее не оставляет чувства уныния и безнадежности.

"Чем ночь темней, тем звезды ярче", — писал Ф.Тютчев.

"И свет во тьме светит, и тьма не объяла его", — говорится в Евангелии от Иоанна.

Книга М. Балужевой "Час вечерний" — о непобедимом Христовом Свете в сгущающейся мировой тьме.

О. Сокурова

ДНЕВНОЙ АВТОБУС НА КОЛОКОЛЬЦЫ

*"Очи мои изнемогосте от нищеты".
(Пс.87)*

ОТЕЦ НИКИФОР, иеромонах тридцати пяти лет, высокого роста и благообразной наружности, стоял на конечной автобусной станции районного центра Горючий Камень (N-ской области Северо-запада России) в ожидании своего рейса. День был знойный. Вокзальная площадь маленького городка, отмеченная в центре стандартным памятником Ленину с чахлыми кустиками желтеющей от долгой засухи зелени вокруг постамента, была безлюдна. Даже одичавшие собаки всех пород и размеров, обычно слоняющиеся здесь, и те куда-то попрятались. Только толпа людей в ожидании автобуса терпеливо томила под небольшим навесом.

Священник возвращался из большого областного города в свой деревенский приход. В городе он побывал у зубного врача, где своевременно заменил две пломбы, посетил своего духовника, без совета с которым никогда ничего не предпринимал, уладил кое-что в епархиальной канцелярии, а теперь через районный центр направлялся в дальнее село Колокольцы. Зной томил и его. Предстоящий более чем часовой путь в стареньком разбитом раскаленном автобусе обещал быть испытанием.

Раньше автобусы из райцентра в окружающие села и деревни ходили очень бойко, по несколько раз в сутки туда и обратно каждый маршрут. Новое направление жизни в стране ознаменовалось сокращением пассажирских перевозок, которые были объявлены невыгодными. Томящимся от жары людям было непонятно, кому и почему невыгодно стало движение автобусов, однако новый порядок жизни не предполагал интереса ко мнению таких малозначительных людей. И вот, всем, кому надо было в

тот день попасть в села и деревни, разбросанные вдоль маршрута на Колоколыцы, оставалось лишь терпеливо дожидаться разбитого пропахшего бензином "львовского". Стоять на остановке напротив кирпичной стены железнодорожного вокзала, молчать, изнемогая от жары, разглядывать эту стену, где поверх остатков штукатурки с едва различимым уже изображением пионеров и колхозников на сборе урожая теперь висел неимоверной величины рекламный плакат с фото гигантской запотелой бутылки лимонада и надписью "Не дай себе засохнуть!"

Всякий раз, когда отец Никифор покидал областной город и должен был ехать во вверенный ему приход, он испытывал смешанное чувство. С одной стороны – предвкушение в избытке свежего воздуха, возможности отряхнуть суету и насладиться тишиной. С другой – тревожное тоскливое томление непонятого происхождения, но очевидным следствием которого была необходимость каждый раз по возвращении все более принуждать себя к совершению обратного пути.

Вот и сейчас, когда подошел, наконец, автобус и нужно было забиваться – среди тележек, котомок и рюкзаков, в молчаливо-озлобленном забвении всех выработанных цивилизацией правил уважения к старости и снисхождения к слабости, напролом, работая локтями, – в этот единственный по расписанию, неспособный вместить всех (но вместит, куда денется), потрепанный рейсовый автобус, отец Никифор испытывал все то же смутное чувство. Хотелось выпростаться из этой толпы, душной и раздраженной, и пойти куда-нибудь, ну хоть побродить по городку что ли. Мутное и беспокойное это чувство полагал он искушением от лукавого, чтобы отвратить от священнического служения. Духовник, архимандрит Диодор, одобрял такое отношение к странному этому чувству и благословил свое чадо духовное на сугубую молитву против тоски, страхований и уныния.

ЗАЖАТОГО между людьми священноинока благополучно внесло в автобус, и удачно – прямо к открытому окошку, на сиденье. Он ощутил сердцем прилив благодарности к Промыслу за это небольшое облегчение тягот. Автобус стремительно наполнялся людьми. В проходе загорелая пышная деваха с тающей на лице косметикой и торчащими на затылке сосульками слипшихся стриженных волос, прижимая правой рукой к груди маленького, в противоположность матери чахлого бледного младенца, левой рукой с зажатой в кулаке сложенной портативной коляской отчаянно распахивала окружающих.

– Да тише ты! – вскрикнул краснолицый лысеющий со лба мужчина пенсионного возраста с рюкзаком за спиной и длинными удочками в руке, ответно ткнув ее в широкую оголенную спину локтем.

– А-а, я те пну сейчас, – раздалось в ответ, и далее слышалась отборнейшая ругань. Младенец выплюнул соску-пустышку и истошно заорал. Автобус загудел, перекрывая шум заведенного мотора, люди стали браниться, что-то выкрикивать, выплескивать скопленное в вынужденном терпении напряжение.

"Совсем одичали, – подумал отец Никифор. – Целыми днями сидят у телевизора, или на пляже, или на берегу с удочкой, алчно работают на подворьях, пьют. Но не идут в церковь. Там им не интересно".

"Широки врата, ведущие в погибель", – вспомнил он хорошо знакомые строки из Священного Писания. Он подумал, что надо еще раз сказать их прихожанам в ближайшей проповеди. Несмотря на несомненные успехи и рост доходов от продажи свечей и исполнения треб, все же людей, постоянно молящихся на воскресных богослужениях в его приходе, было немного.

Ругань в автобусе продолжалась, далеко уйдя содержанием от начальных побудительных причин. Отец Никифор отвернулся к окну, чтобы оградить глаза и уши от скверных впечатлений.

Он был одет по граждански, и никто, видимо, не признал в нем священника. Лишь одна женщина, сельчанка из Колокольцев, которая часто бывала в храме, поздоровалась с ним издали коротким кивком. Ему спокойно было оставаться неузнанным. Не хотелось привлекать к себе внимание.

Священником отец Никифор стал не так давно. Всего четыре года прошло с того дня, как был он рукоположен и направлен для служения в Колокольцы, большое село, как говорили, названное так потому, что славилось до революции замечательной звонницей у одного из трех своих храмов. Звоны разносились на всю округу, отсюда и пошло название села.

Впрочем, так говорили восторженные неофиты. Скептики же утверждали, что название происходит от имевшегося здесь некогда производства колокольчиков для конской сбруи.

Как бы то ни было на самом деле, к началу девяностых годов двадцатого столетия здесь лишь чудом сохранилась полуразваленная деревянная церквушка на кладбище, которая использовалась в советское время под склад могильных памятников и сносу которой помешал статус памятника архитектуры. Колокола на ней давно не было, и когда прибирали церковь, чтобы возобновить после долгого перерыва службы, приспособили тогда под било обрезок красного газового баллона.

Храм открылся по инициативе группы женщин, за которыми вслед потянулись их мужья: трактористы, лесорубы, водители лесовозов, щедрые на крепкое словцо и страстные к крепким напиткам, но зато и с крепкими рабочими руками. Эти руки немало послужили восстановлению церковного здания. Приходил и кое-кто из образованных людей: учительница, землемер, ветеринарный врач. Поначалу в церкви было сыро, мрачно, пахло плесенью и мышами. В алтарной части слышались иногда какие-то стуки, особенно во время совершения литургии. Обедни и требы совершать было трудно. Но люди всегда приходи-

ли. Пусть два-три человека, но кто-нибудь молился обязательно, и службы шли положенным чередом. Мало помалу отступала та мерзость запустения, что встретила вначале. Жизнь в приходе налаживалась.

А еще годом ранее того, как приехал сюда отец Никифор для пастырского служения, принял он монашеский постриг с именем, мученика за веру в древние времена. Казалось, с переменой имени отсек он прежнего себя окончательно.

АВТОБУС с натугой взбирался в гору. Перебранка в салоне прекратилась. То ли устали люди, то ли ушло напряжение от долгих усилий – успеть, дожидаться, втиснуться, то ли подействовало мерное убаюкивающее покачивание и постукивание.

По обеим сторонам дороги открывались восхитительные для глаза горожанина, а селянину привычные до безразличия виды. Под огромным лазурным куполом с высоко реющими рваными сверкающими облаками – поля с перелесками, являющие взгляду все оттенки зелени, от сочно-изумрудных до нежных, подернутых дымчатой поволокой, или блеклых выцветших, переходящих в спелое злаковое золото. Дороги заманчиво вились между полями, исчезая на горизонте или в живописных группах деревьев.

Деревушки же и села, расположенные по обеим сторонам шоссе, являли собой полную противоположность этой уравновешенной сдержанной красоте. Хаотичность, поспешность во всем, забота одного дня, горестная нищета и уродливая зажиточность, – вот впечатления, которые рождались в душе постороннего путника при виде этих деревень. Бросая в землю черная избенка с крошечными окошками, крытая рваным рубероидом; рядом с ней бревенчатый пятистенник, некогда с размахом выстроенный для большой крестьянской семьи, а ныне превращенный в общежитие – покосившееся, с выбитыми кое-где стеклами, замененными

фанерой; чуть подалее – веселенький домик, подобие финского, покрытый весь ярко окрашенной вагонкой, с аккуратно, по-хозяйски прибранным двориком, – непотопляемый корабль в бурном океане житейском; в стороне как-то боком и не к месту возведенная казенная трехэтажка из серого кирпича или кривых блоков, облепленная со всех сторон сараями, парниками и свинарниками; и, наконец, на возвышении, за сплошным непреступным забором – помпезное и мрачное сооружение, дача людей, внезапно за последние годы сколотивших большое состояние, – все соседствовало, все лепилось рядом. Без плана, без порядка, без какого-либо видимого смысла. А если добавить сюда еще и обломок сенокосилки, одиноко ржавеющий где-нибудь у околицы, или обрезок трубы, торчащий из какой-нибудь ямы при дороге, или устроенную вблизи жилья на виду у всех свалку объедков и изношенной домашней рухляди, – тогда картина этого неуютного и разобщенного уклада станет полной.

Отец Никифор задумался о людях, стремительно вылезших на первый план за последние годы из среды некогда равномерно бедного советского населения. Их стали называть "новыми русскими". Они часто делали богатые пожертвования на церковные нужды, даже иногда строили за свой счет храмы. То ли они испытывали духовную жажду, несмотря на свои материальные притязания, то ли их привлекала пышность православного обряда, под стать небывалой пышности их быта. Как бы то ни было, отношение верующих к их вкладам не отличалось единодушием. Одни считали, что деньги новых богатых добыты темным путем, на них – кровь и слезы, значит, Церковь не может принимать эти жертвования. Другие из спорящих, наоборот, говорили, что нельзя одним махом всех записывать в преступники, нельзя судить ближнего, "не судите и не судимы будете", что нет прибора, определяющего чистоту чужих помыслов, и, самое главное, грешно отталкивать от Церкви людей, которые покались и пришли ко Господу. И те, и другие

в своих доводах опирались на тексты Священного Писания, и совершенно невозможно было рассудком дойти, где же кроется истина.

Отец Никифор, честно говоря, не знал, как бы он поступил, приди к нему человек с большими деньгами. Иногда мечталось возвести храм изумительной красоты, чтобы дух захватывало. Но цена каждой банки масляной краски, каждого мешка цемента была камнем, который тянул на дно все мечты. Его храм собирался по капле, чудом, из ничего. Потому и поставили иеромонаха на этот приход, что священника семейного невозможно было бы прокормить здесь.

До присоединения к Церкви отец Никифор был инженером-химиком. То есть пережил школьную, затем студенческую и служебную пору как все, ничем, в сущности, не отличаясь от прочих людей своего сословия в стране советов и победившего пролетариата. Сословие, к которому он тогда принадлежал, именовалось интеллигенцией и было знаменито своей бедностью, а также острым недовольством существующими порядками, что выливалось в характерное явление, давно кем-то названное "брожением умов". Брожение интеллигентских умов осуществлялось преимущественно на кухнях, за чашкой чая (нередко – за стаканом портвейна) и мало у кого заканчивалось чем-то более серьезным.

Отец Никифор – тогда его звали Николаем – был таким же как все. Неплохо аккомпанировал на гитаре, любил пошутить, попеть веселые туристские песни, когда бывал в подочных походах или уезжал далеко со стройотрядом на заработки. Не чужд был внимания к различным философским и духовным учениям, интересовался системами поведения и мышления людей, позволяющими достичь самораскрытия, психического равновесия, развития талантов и душевных возможностей человека. Частенько, бывало, ругал власти, сидя ночью на чьей-нибудь прокуренной кухне за чашкой крепкого чая в по-русски долгих, жарких и не имеющих завершения спорах.

Перемена произошла однажды и разом. Случилось это во время одного из традиционных выездов с коллегами "на картошку". Это так говорили – "на картошку", когда инженеров, студентов или служащих отправляли убирать урожай в подшефном хозяйстве. На самом деле могла быть и морковь, и свекла, и иные какие-нибудь корнеплоды. Слово картошка было обобщающим для данного вида деятельности, привычного для миллионов – школьников и солдат, инженеров и студентов, всех советских людей – зависимых, гоняемых туда-сюда то под одним лозунгом, то под другим. Так постепенно отпадала необходимость думать, и люди разучились понимать, чего же, собственно, хотят они сами, и в чем состоит их личная воля.

Помогающих поселили в школьном спортивном зале маленького районного городка и каждое утро на автобусе отвозили в хозяйство. Спортивный зал не нужен был школьникам потому, что они в это время не учились, а тоже были брошены "на картошку". Спали на матах. Женская половина от мужской отделялась временной перегородкой из шкафов, вешалок и других случайных предметов, найденных по углам школы и притащенных этой целью в спортивный зал. Взрослые тети и дяди, оставив дома семьи, могли почувствовать себя вечными студентами.

По вечерам посылали кого-нибудь в ближайший гастроном за дешевым портвейном, закусывали консервами "килька в томате", хлебом и плавлеными сырками, Больше ничего в магазине не продавалось.

В один из таких вечеров-посиделок идти в магазин за выпивкой и закуской выпало Николаю. Стоял тихий вечер бабьего лета. Косые, почти горизонтальные лучи заходящего солнца были неожиданно яркими, свет усиливался, отражаясь от желтых оштукатуренных стен одинаковых домиков, настроенных в городке после войны, краснели кусты барбариса, посаженного вдоль улиц. На фоне глубокой голубизны неба неожиданно блеснула высоко над городом золотая маковка с крестом – церквушка на горе. Неудержимо потянуло туда. Он вошел в храм. Была суб-

бота и служили всеношное бдение. Неторопливо чинно двигались священники – иерей и диакон в сверкающих ризах. От мерцания свечного пламени и сладкого запаха ладана кружилась немного голова. "Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим..." – неземными голосами выводил хор, многократно повторяя эти слова. Какое-то строгое и неоспоримое достоинство было на сосредоточенных и мирных лицах немногих молящихся, когда он украдкой искоса поглядывал на них. Он неловко подошел к свечнице, купил большую свечу и так же неловко поставил ее на ближайший подсвечник, истаивая от тихого восторга, незаметно охватившего его. Уходить не хотелось, было чувство, что здесь его дом. И такой никчемной постыдной показалась вся предыдущая жизнь. Будто и не жил вовсе.

И он зачеркнул ту прошедшую жизнь, пустую и придуманную. Что вело его в этом решении – ласковое ли, все покрывающее дыхание предвечной Любви, которое он счастливо ощутил в храме тогда, или та слава, которая отблеском была запечатлена на лицах людей, стоящих в храме, и от которой тоже захотелось отделить и получить свою долю? Тогда он не научился еще разбираться в себе так тонко, еще не наслышан и не начитан был, что падшая природа человека соединяет в себе рука об руку темное со светлым, правдивое с ложным. Не знал, что удел человека в этой жизни – всегда опасно ходить по краю пропасти, вызывая о помощи свыше. Он не задавался вопросами. Он почувствовал призыв и пошел.

Сколько же труда вложил он в это отречение от прошлого! Посты, самые строгие, вплоть до того, чтобы днями не принимать пищу, ночные стояния на коленях, долгие молитвословия, – все, чтобы, по Писанию, обновить в себе ветхого человека. А сколько жертв было принесено во имя этого обновления. Соппротивление родителей, недоумение сослуживцев, разрыв с невестой. Отцу – офицеру, армейскому политработнику, пришлось подать в отставку. Оля, любимая девушка, привязанность еще со

школы, решительно заявила, что не бросит из-за него университет, и вышла замуж за другого. Ушел вскоре и сам Николай со своей работы, устроился работником при храме, жил в сторожке. Он сделал все, что мог.

Откуда же теперь эта тоска?

АВТОБУС сильно встряхнуло на ухабе. Отец Никифор невольно уцепился за поручень переднего сиденья и на минуту отвлекся от своих мыслей. Он увидел, что рядом с ним сидела теперь та женщина, жительница Колокольцев, которая бывала каждое воскресенье в храме на службе, иногда приходила мыть полы перед праздниками, та, которая кивнула ему издалека в начале пути. Он и не заметил со своими думами, как она под села к нему. Теперь он искоса посмотрел на нее, вспоминая, как зовут. Вот ведь, сколько раз исповедывал ее и причащал, а имя все как-то ускользает из памяти.

Обыкновенная, лет пятидесяти, небольшого роста, с мелкими, не лишенными приятности, чертами загорелого лица, с натруженными по-деревенски руками, в ситцевом платье простого покроя, в сиреневый с розовым цветочек, и в белой косынке вокруг загорелого лица. Аккуратная, спокойная, молчаливая. Она была, конечно, не из тех, кто тычется локтями в автобусе и отчаянно матерится.

– Здравствуйте, батюшка, еще раз, – слегка улыбнулась женщина, когда заметила, что отец Никифор на нее смотрит.

Он ответно поздоровался и далее почувствовал смущение от того, что не знал, как теперь себя следует вести, чтобы не уронить своего священнического достоинства, о котором следовало постоянно помнить, чтобы не допустить фамильярности по отношению к себе, унижающей сан, и не сократить необходимую дистанцию, которую особенно надо держать с женщинами всех возрастов, потому что женщины особенно склонны эту дистанцию всячески со-

крашать и переходить на какие-то душещипательно-слащавые отношения.

Но то священническое достоинство, которое еще не так трудно было поддерживать, находясь на солее храма перед царскими вратами, возвышаясь над толпой прихожан и произнося проповедь, было совсем непросто соблюсти теперь, в трясущемся стареньком разбитом автобусе, раз в сутки предоставляющем свои натруженные четыре колеса всем, не располагающим собственным транспортом, да еще сидя бок о бок на одном сидении.

Отец Никифор в который раз испытал затаенную, скрываемую даже от себя досаду, что не может ездить на автомобиле. Он столько сделал, так потрудился, но помощи нет ниоткуда. Речь ведь не идет о стяжании: должен же он как-то передвигаться. И вот тоже, сколько мужичков колокольцевских подрабатывает нынче извозом на своих "жигуленках" и "москвичах". Но никто не вспомнит о нем, не предложит свою помощь, не подвезет.

А ведь как много хотят от него люди! Они хотят и ждут от него чудес: какой-то необыкновенной мудрости, способной разом разрешить все их затруднения и облегчить тяготы, сообщить то, что скрыто, прозреть будущее. Будто он факир какой-то!

– Батюшка, разрешите обратиться к вам с вопросом, – почтительно прервала молчание женщина. Она стала сбивчиво и подробно что-то объяснять. Вот-вот, сейчас она перескажет все свои дразги...

Люди часто обращались к нему с вопросами. Жены ссорились с мужьями, непослушные дети отбивались от рук, старики упрекали молодых, молодые – стариков, даже при храме женщины отчаянно интриговали за почетное право торговать свечами, и везде требовалось решающее слово священника. Люди часто говорили с ним искательным тоном, заглядывали в глаза. Это раздражало. На исповеди они подробно рассказывали обстоятельства, которыми были окружены их грехи. Они оправдывались, не думая о том, что идет время, а он один, кто и служит и исповедует,

а позади еще целая очередь народу, а после службы еще надо будет крестить, венчать, отпевать, ходить по больным, и неизвестно, когда еще он присядет и выпьет свой первый за день стакан чаю.

В конце концов, ему пришлось требовать, чтобы они коротко, одним-двумя словами называли каждый грех. И тогда на него посыпались исповеди, так же похожие друг на друга, как похожи были в былые времена школьные сочинения о Павке Корчагине. В разной последовательности было всегда одно и то же: гордость, ненависть, блуд, непрощение обид, аборт, супружеская неверность, нарушение постов. И за каждой такой исповедью уже невозможно было разглядеть человека, понять, чем он живет, покался ли он на самом деле или только делает вид. Понимает ли вообще, что такое покаяние. И уж совсем невозможно было что-то посоветовать, куда-то направить его жизненный путь.

Да уже и не хотелось делать это. Такая задача уже казалась непосильной. Он что-то говорил им перед разрешительной молитвой и утешался тем, что Господь примет покаяние и простит каждого, искренне покаявшегося. Господь вложит нужные слова в уста служителя Своего, а от человека, совершающего таинство, уже мало что зависит, его роль ничтожна. В этом рассуждении отец Никифор предполагал то умаление себя, которое заповедано в Евангелии. Он поступал так, как написано в книгах. Он поступал правильно.

Однако, откуда же эта тоска, которая по временам охватывает его целиком? И происходит это все чаще и чаще? Откуда этот темный страх? Почему такая туга просочилась в исполнение им своего служения? Архимандрит Диодор говорит, что там особенно лютует сатана, где видит усердие и благочестие. Так сказано у многих святых отцов. Но в таком случае страшно и невозможно усиливать подвиги, потому что сила супротивная несоизмерима с человеческой и за наше дерзкое и немошное сопротивление она сметет нас как пылинку. Если не будет помощи свыше. Где

же Господь, почему оставил? Отец Никифор вспомнил: святые отцы говорят, что благодать Божия отступает от нас и за грехи, что, впрочем, относится к простым, обыкновенным людям, не к святым. Это святых и подвижников лукавый искушает за их подвиги. По особому попущению свыше, чтобы еще больше можно было их прославить потом. А к простым людям это не относится. От них благодать отступает за грехи. Может быть он, священноинок Никифор, в миру Николай, – простой обыкновенный человек и ничего не стяжал своим подвигом, и от него благодать отступила за какой-то грех? Правда, неясно, за какой именно. Грехи у него в последнее время были все какие-то мелкие и незначительные.

Последнее предположение – о грехе – как ни странно принесло облегчение. Грех, по крайней мере, можно отыскать в себе, можно покаяться и попытаться исправить его. И тогда уйдет, может быть, это душевное страдание, эта боль, этот страх. А на большее он уже не способен. Господи, Господи, научи меня, не остави пропадать в недоумении...

ИЗ ОТКРЫТЫХ окон и поднятых вентиляционных люков веяло желанной прохладой. Людей в автобусе осталось уже совсем немного: две старухи в белых платочках, какой-то дед в брезентовой куртке, с корзиной на коленях и громадной рыжей собакой, лежащей около его ног в проходе, высунув язык. Да группка подростков оживленно обсуждала что-то на заднем сиденье. Дорога шла по лесу, между рядами высоких елей. Перевалило за середину пути.

– ...и схоронили мы Антошу, а отпевать не знаем теперь как, – донесся до него мелодичный, распевный голос сидящей рядом женщины, и он понял, что прослушал что-то очень важное в ее рассказе, и теперь надо как-то выходить из этого неловкого положения. – Батюшка, ведь если

он сам на себя руки наложил, то отпевать его теперь нельзя, это правда? – вопреки смыслу слов в ее голосе слышалась надежда, что вдруг она ошибается, и еще как-то можно исправить положение.

– Самоубийц Церковь не отпевает, – сказал отец Никифор твердо, втайне с облегчением, что удалось скрыть свое невнимание.

Женщина горестно вздохнула, и они продолжали путь в молчании.

– Простите меня, – вдруг сказал отец Никифор немного изменившимся голосом, неожиданная догадка обожгла его. – Я не очень внимательно слушал вас только что. Не могли бы вы повторить все сначала.

Она сочувственно взгляделась в него и, вздохнув, стала повторять свой рассказ.

– Антоша был нормальный мальчик, совершенно нормальный, то есть он мог работать и обслуживать себя, но родных у него не было, понимаете? Он был совсем один. От него мать отказалась в роддоме. А потом врачи обнаружили болезнь эту, как ее... У него приступы были только иногда, но все-таки несколько раз были. И его отдали врачи из детского дома в дом хроника, когда он вырос. Потому, что он иногда, хоть очень редко, терял сознание. А перед тем, как упасть в обморок, был некоторое время как бы и в сознании, но только внешне, потому что ничего не понимал, и не помнил потом, что с ним было. Но это случалось только от волнений, от переживаний. А если все спокойно и нормальная жизнь, то все и у него нормально. Так вот, женщина в доме хроника, главный врач, стала хлопотать, что не надо ему быть в больничных условиях, а он может сам жить в квартире. И выхлопотала ему квартиру какую-то старую. Все помогали ему делать ремонт: медсестры, больные. И он сам делал. Дружно, говорит, все было. Потом справили новоселье. И он стал там жить, приходил только иногда в дом хроника. Стал работать в мастерской какой-то, ремонтировал старые вещи, вазы склеивал, рамки старые. Зарабатывал на жизнь. А

тут на наше горе объявили эту экономику, как ее ... шокирующую. Все смешалось. Жить стало невыносимо. Мастерскую закрыли.

Отец Никифор вспомнил малого по имени Антон, который раза два приходил в церковь на службу и после службы пытался завести с отцом Никифором разговор. Невысокого роста, полноватый, с очень бледным, слегка опухшим нездоровым лицом и серыми малоподвижными печальными глазами. Последний раз он спросил дорогу к ближайшему мужскому монастырю. Туда часто спрашивали дорогу, кто в паломничество собрался, кому так – любопытно. Отец Никифор ответил спокойно, обстоятельно. Казалось, парень хочет еще что-то спросить. Но в монашеских правилах отвечать только на поставленный вопрос, ничем сверх не интересуясь. Да и дела ждали: машину песку привезли, задаром. Никак не гоже было заставлять людей ждать. Словом, на разговор этот много времени не было отпущено. Парень говорил медленно и показался отцу Никифору туловатым и странным. Одет он был очень чисто, в отглаженных брюках и белой рубаше.

Этот Антон как раз прошлой ночью почему-то приснился отцу Никифору. Все так же одет, в той же белой рубаше стоял он во весь рост, плакал и протягивал к священнику руки, не пустые, в руках что-то лежало. Но отец Никифор почему-то боялся взять то, что было в руках, боялся даже взглянуть, что там. "Батюшка, батюшка", – настойчиво повторял Антон, а слезы так и текли по его лицу. Наконец отец Никифор через силу взглянул ему в руки. Там была пачка стодолларовых бумажек.

"На строительство храма", – сказал Антон и после этих слов стал исчезать, тускнеть и пропал совсем. Отец Никифор проснулся в большом смущении. Впрочем, святые отцы учат не придавать значения снам, и он пытался забыть этот сон. Однако, как ни старался, глупый сон этот не шел из головы. И вот, оказывается, что за этим стояло. То есть уже совершенно не было понятно, что за этим стояло.

– И как же он оказался здесь, в Колокольцах? – переспросил он женщину. – Как все случилось?

– Да как ныне все случается, – вздохнув, откликнулась она. – Дом хроника расформировали, женщину эту хорошую, главного врача, уволили на пенсию, и она куда-то уехала. Про Антошу все забыли. Однако, понадобилась его квартира. Вы же знаете, как за такими бедолагами охотятся, за алкоголиками, за больными, за старухами. Вон и в Колокольцах уже сколько таких поселилось. Переселят куда похуже, а разницу в деньгах – себе. Теперь это называется бизнес. Прежде-то иначе называлось. Ну, ладно. Стали с Антоши требовать квартиру, чтобы он продал им подешевле. Он не соглашался, – избили в подъезде. Попал в больницу. Потом ничего в милиции не мог доказать. И слушать не стали. Начались у него опять приступы. В один из таких приступов бандиты все и оформили, продажу и все остальное. Вывезли его без сознания сюда, рядом с нами, дом Митрофановых, вы знаете их. Они старуху к себе забрали, дом продали, а те как раз Антошу – в этот дом. Как бы сам он продал квартиру и по своему желанию купил домишко. Всю видимость обстряпали. Денег никаких ему, конечно, не дали. Скажи, мол, спасибо, что жив остался. Да в доме том крыша худая – течет, да он к деревне непривычный. Маялся, маялся. Пока пенсию перевел сюда, нечего было даже есть. Люди чем могли помогали. Наш бухгалтер в правлении, Лариса Ивановна, очень хорошая женщина, все законы знает, говорила, что все можно вернуть, доказать, все сделано неправильно, незаконно. Да ведь какая тяжба мешкотная пойдё-е-т, да сколько денег надо, чтобы в город ездить, да сколько нервов. А он один, да болен, да голоден, да крыша течет.

– Вроде он не производил впечатление нищего, такой аккуратный...

– Вот-вот, аккуратный, самостоятельный, – продолжала женщина. – Бедствие свое напоказ не выставлял, надеялся найти работу, да где у нас, сами знаете, среди своих –

безработица. – Женщина опять вздохнула. – Короче, случилось все, когда я поехала к маме. Мама у меня заболела в Рязани, я у ней была. Пока я ездила туда, он руки и наложил на себя. Таблетки все выпил разом, какие были. Не выдержал, И отпевать теперь нельзя. Это ведь мы с мужем настояли, чтобы он покрестился. Такой был радостный после крещения. Говорит: "Батюшка как ангел". Это он про вас говорил. Советовали мы ему прилепиться к монастырю, там принимают. Как никак, думали, зиму прокормят убогого, а там видно будет. Обещал подумать. Да денег на дорогу много теперь надо, хоть и близехонько, а дорого как ста-а-ло, ой... А ну как у него не выйдет там и потратится зря?

– Так все-таки ездил он в монастырь?

– Точно не знаю, но по всему, нет, – не решился.

Некоторое время они молчали, потом отец Никифор сказал

– Душевнобольного можно отпевать, только разрешение надо сначала спросить у преосвященного.

Женщина взглянула на него с надеждой

– Батюшка, уж похлопочите, ради Бога.

АВТОБУС подошел к конечной остановке. Уже лил дождь, но гроза отгремела, и слышалась теперь изда-лека.

– Иди с миром, Валентинушка, Христос с тобою, – сказал отец Никифор.

Он пошел к себе в кладбищенскую сторожку. Песчаные мостовые села, расположенного на холмах, были изрыты сейчас потоками воды. Лужи дыбились крупными пузырями. Под плотно падающей водой поникла зелень. Отец Никифор не достал зонт и никак не закрылся от дождя. Вскоре он был до нитки мокрый. По благообразному строгому лицу струилась вода, светло-русая борода потемнела, волосы облепили высокий лоб.

– Медь звенящая, – вдруг сказал он сам себе, вспомнив, что так названы в Писании праведники, не имеющие любви в сердце своем. И он подумал, что это сказано о нем, и такова цена всех его трудов. – Боже, милостив буди мне грешному.

И был он как ребенок, объятый страхом, беспомощный и потерянный, ищущий опоры в более Сильном. И – странно – именно эта боль, страх и беспомощность освободили дыхание души, принесли первое облегчение от тоски. Что-то новое входило в его жизнь. С болью, но не по-здешнему радостно.

Ливень уже давно перестал. Высоко в ясном небе сияло солнце. Оно щедро золотило покрашенный недавно зеленой краской купол деревенского храма и крест на нем. В его торжествующих лучах был виден и другой, большой деревянный восьмиконечный, крест на горке, словно парящий теперь над селом. Этот крест был принесен туда недавно с благоговейным молитвенным пением и укреплен прихожанами во главе с батюшкой на третьей неделе Великого Поста, именуемой Крестопоклонной.

Февраль 2002.

ВЗОШЛА ЗВЕЗДА ЯСНАЯ

—СИЛ моих больше нет, — Ольга Владимировна поправила очки в тонкой блестящей оправе и подняла заплаканное лицо к верхней ветке ели, которая стояла у окна. Надо было понадежнее поместить очередной золотой хрупкий шар в серебряных искорках. Что бы ни происходило в жизни, Ольга Владимировна оставалась верна распорядку и ежедневным обязанностям. Вот и теперь, перед новым годом, что бы ни омрачало этот праздник, следовало как обычно нарядить елку.

Вчера тонкое деревце в сосульках и каплях талой воды принес муж, Игорь Глебович. Произошло это уже в первом часу ночи. Игорь Глебович был сильно пьян, и поэтому до дому его сопровождал товарищ по институту, прежней работе и нынешним почти ежедневным попойкам — этот несчастный Прокофьев, долговязый, с трехзубой улыбкой, упрятанной в вечно всклокоченную пегую бороду. И кто кого нес — Игорь Глебович елку или Прокофьев нес их обоих — елку и Игоря — это еще надо было подумать.

— Нет сил, — повторила Ольга Владимировна, искоса взглянув на диван, где, невзирая на уже поздний утренний час, лежал плашмя ее супруг, изредка то вскрикивая, то лепеча что-то.

За окном мело, густо и неслышно. Чистая белизна дня проникала в комнату — снежным светом с улицы и белизной тюля на окнах — и сообщала всему какую-то чуткую строгую радость. Кроткое ожидание обновления было, казалось, разлито вокруг.

Но Ольга Владимировна знала, что муж проснется с непременным желанием облегчить похмелье. И все пойдет по-старому в этой жизни — безысходно, охладело, многозаботливо.

Ольга Владимировна потянулась за следующим шаром. Он был малиновый матовый и тоже весь в серебристой

узорчатой пыли. Набор великолепных шаров из Германии она купила пятнадцать лет назад на новогодней ярмарке, которую неожиданно устроили прямо перед домом. Весело, беззаботно проходили праздники в те годы. Всю ночь работали кинотеатры, кафе. Люди танцевали и пели прямо на улице. Тогда еще переименовали Ленинград обратно в Петербург, и все верили, даже газеты писали, что все теперь пойдет по-другому в их городе. Прошлая жизнь катилась в тартарары. Тогда то ей и приглянулись эти шары. В то время еще можно было себе позволить подобную покупку. Ныне же стеклянные елочные игрушки продаются уже по немыслимым ценам, они стали предметом роскоши.

Ольга Владимировна повесила последний шар и нагнулась к полу, где в коробке из-под сапог ожидала своей очереди разная блестящая мелочь: грибочки, ягоды земляники, сосульки наполовину прозрачные, зеркальные шарики с разноцветными вмятинками, глянцевые пирамидки из разноцветных колец, на зажимах, чтобы стояли, а не висели на ветке. Старомодные, трогательные, напоминающие детство. Эти игрушки оставила Ольге Владимировне подруга, уезжая из Питера в Калифорнию насовсем. Теперь каждый год, наряжая елку, вспоминала Ольга Владимировна подругу Соню и детские их ожидания чудес перед каждым новым годом. Подруга присылала из Америки торопливые письма и яркие фотографии: то на фоне пышного розового куста в своем палисаднике, то на мексиканском пляже под синим-синим небом.

Дерево в тепле источало свежий неповторимый аромат. Только раз в году так пахнут елки! Вот еще и Санта-Клаус в красном кафтанчике. Чей-то сувенир, случайный. Наверное, студенты подарили когда-то. Изогнулся, гримасничает чужестранец. Ну, пусть и он идет на елку, украсит праздник.

Теперь самое главное. Она достала из особой коробки скромные бумажные фигурки: ангелов трубящих, вертеп с барашком на переднем плане и гирлянду флажков, на каж-

дом по букве, а вместе слова: "Слава в вышних Богу...". Эти украшения они вырезали из детского альбома-самоделки, купленного в церковной лавке. Втроем с близняшками, Верой и Соней, вырезали, собирали, клеили. Бумага была дешевая, шершавая, цвета блекловатые. Но рисунок изящный. Возможно, выкройка была повторена с какого-то старинного образца. Со времени обратного переименования города и доныне многое бралось взаймы у благословенной старины. Девочки очень любили эти украшения. Они содержали особый смысл, напоминание, что настоящий праздник будет через неделю.

– Мамуся, кефирчику бы, – послышалось с дивана. Голос, хриплый и виноватый, через минуту молчания добавил, – а еще бы лучше пивка...

Ольга Владимировна молча повесила последний флажок, сложила пустые коробки и поставила их на шкаф. Потом подошла к угловой полочке и затеплила лампаду перед иконою. Она трижды перекрестилась и поклонилась, после чего молча приблизилась к столу, где были остатки завтрака, немытые чашки.

– Мамуся, ну что ты злишься, я не хотел... Это все Прокофьев, ты же знаешь, полная квартира народу как всегда, а у Карпинского драндулет не заводился, пока собралась, пока то да се...

Ольга Владимировна молча собирала чашки и тарелки.

– Молчишь? Так, значит, прощения не жди! Мы так милосердны, так человеколюбивы, – в голосе слышалось какое-то слезное бессильное озлобление.

Ольга Владимировна взяла поднос с посудой, чтобы нести на кухню. В этот момент в лицо ей ткнулась подушка-думочка, запущенная с дивана с ускорением отчаяния. Вслед за подушкой полетела площадная брань оттуда же.

Полетели на пол очки, полетела со звоном посуда с подноса, полетела со стены черно-белая фотография в тонкой блестящей рамочке, где светловолосая смеющаяся молодая женщина в джинсах на фоне пальмы и в солнечных бликах белой стены держит на руках маленького маль-

чика, а рядом с ней открыто смотрит в объектив крепкий невысокий мужчина, а внизу надпись: "Хоста, 1980".

Ольга Владимировна все так же молча сходила на кухню за веником и совком, аккуратно сгребла черепки и вынесла их в большое помойное ведро в конце длинного коридора на кухне прямо у входной двери в квартиру. Потом молча поставила на стол пакет кефира.

ВСТРЕЧА нового года прошла как обычно. Пришел сын Глеб с женой. У Глеба было хмурое усталое лицо, он прятал взгляд. Невестка тоже шурила холодные глаза, была неразговорчива и не скрывала своей скуки. Дом постройки начала века революций, казалось, ходил ходуном. Выше этажом дружно и ритмично топали, в коридоре горланили, во дворе оглушительно и пугающе взрывались петарды. Везде в окнах двора-колодца светились экраны телевизоров. В комнате у Сорокиных телевизор тоже был включен. Вымученные, иногда вовсе плоские, шутки ведущих составляли своей бедностью очевидную противоположность броской роскоши нарядов и разнообразию технических возможностей передачи. На столе перед телевизором были только треска под маринадом, селедка с луком да овощной салат.

Близняшки сначала хохотали, потом стали зевать и уснули, сидя. Пришлось перетаскивать их на двухъярусную кровать у входа в комнату. "Нары", как шутил Игорь Глебович. Под бой курантов он трясущимися руками открыл бутылку шампанского, залив, скатерть шипучей пеной, и опять неудачно пошутил, что вот де скоро конец поста и "нажремся от пуза".

Ольга Владимировна молчала. Потому ли, что искусством приготовления сносных на вид обедов из ничтожного количества исходного продукта она овладела к тому времени уже в превосходной степени, но искусство ее было бессильно перед законом сохранения вещества и не могло

сообщить пище необходимого количества калорий, отчего скромные дни в их семье мало отличались от постных; потому ли, что душевный пост, предписывающий воздержание от телевизора и плоских шуток, не соблюдался в их семье совсем; потому ли, что сын Глеб не может содержать невестку так, как она привыкла у своих родителей, и дело пахнет, кажется, разводом – по этим или по иным причинам, но Ольга Владимировна чувствовала какую-то тревогу и переносила праздник без волнения и без радости, но с одним только терпением.

Она всю жизнь училась и учила и ко всему в жизни подходила серьезно и методично. Став верующей в результате цепочки умозаключений, всю жизнь производимых ею и приведших к выводу о необъяснимости первопричины всего сущего с точки зрения материализма, она, тайно крещеная бабушкой в детстве, стала теперь добросовестно стараться выполнять все требования, предъявляемые к христианской жизни. Здесь были свои законы: семья должна быть дружной, должны соблюдаться посты, должна твориться общая молитва, и, самое главное, нужно всех просить и прошение это должно иметь сверхъестественную силу укротить всякую злобу вокруг. Такой образ идеальной христианской жизни она усвоила из того, что читала или слышала по данному вопросу. Время шло, она старалась воплотить в жизнь намеченное, но с каждым днем все больше убеждалась, что построить такую идеальную жизнь ей не под силу. Та показательная, соответствующая правилам жизнь досталась кому-то другому. Ей, Ольге Владимировне Сорокиной, коренной петербурженке-ленинградке, кандидату философских наук, матери своих детей, жене своего мужа, православной христианке выпал иной билет. Все шло наперекосяк в ее жизни, часто совершенно вопреки ожидаемому. Но и с этим билетом в руке надо было как то спасти свою душу и души близких от разъедающего тлена и наступающей со всех сторон смерти.

Муж опускался на глазах. С тех пор как он потерял работу в конструкторском бюро, которому отдал всю моло-

дость и зрелый остаток жизни (бюро упразднили за ненужностью) выражение растерянности, приниженности и напряженного ожидания неприятностей прочно поселилось на его лице. Он долго не мог найти работу, пока Прокофьев не позвал его за компанию грузчиком в большой дорогой универсам на углу. Платили там мало. Но зато давали кое-что из продуктов. В доме появилась как прежде колбаса. Давали яблоки с коричневыми подбитыми боками, подгнившую морковь, виноград рассыпью и всякую другую, подпорченную, но еще годную снедь. Бесплатному коню в зубы не смотрят. Можно было срезать испорченное и готовить из остального. Хоть немного подкормить близняшек. Акварельная синева у них под глазами шемила родительское сердце. Врачи что-то говорили о диспропорции веса и роста.

Когда произошел тот сокрушительный удар по беззаботному внутреннему устройению, которое она старательно до того строила внутри себя? Она помнит тот день.

Год назад, незадолго до Великого Поста девочки прибежали из кухни в комнату напряженно-взволнованные. "Мама, что там...", "Что там у Люси, мама...". Постойте, Вера, Соня, научитесь говорить, уже по двенадцать лет вам, я ни слова не пойму, сбиваются, волнуются, такие нервные, ну что? "Мама, что там у Люси на сковородке?" У Люси? Пойдем, посмотрим, что вас так встрепонуло. Ах, вот оно что. На соседкиной сковороде посреди пустой кухни – блестели, румянились, шкворчали, издавали запах, который мог бы свести с ума – восемь куриных бедрышек. Ах, вот оно что. Девочки, это кура. Нельзя же так реагировать, словно вы куры не видели никогда. Это всего-навсего еда.

Она крепко задумалась с того дня.

– Смешная вы, Ольга Владимировна, с вашими диетами, – сказала ей как-то соседка Люся.

Люся была безмужняя, еще не старая женщина родом из деревни Колоколыцы, что где-то на северо-востоке. Родители ее в Колоколыцах пропили дом и доживали те-

перь в бараке-общежитии. Больше у нее родственников не было, только восьмилетний сынишка. Раньше она работала на заводе, но там перестали платить, и она пошла в овощную палатку на улице. Платили там так, что хватало на жирную пищу каждый день, а еще на водку. Без водки и жиров, отстояв каждый день на морозе и ветру, Люся, по ее словам, тут же свалилась бы. За год работы в палатке лицо ее обветрилось и покраснело, голос охрип, она стала курить и попивать даже в изредка выпадающие выходные. Люся исповедывала нехитрую жизненную философию: быть как все, не высовываться.

— Я работы не боюсь, — не раз уверенно говорила она. — А кто работы не боится, тот не пропадет.

Восьмилетний сынишка Люси сам приходил из школы, сам разогревал еду или готовил себе, что мог, и вообще был очень самостоятельным мальчиком.

ПОСЛЕ новогодних праздников дни пошли трудно, нарастая суетой, тшетой, тревогою.

На третий день после встречи нового счастья Ольга Владимировна как обычно читала днем лекции, последние в академии перед зачетной неделей, а вечером пошла мыть подъезд соседнего дома. Это была последняя промывка перед условленной получкой. Она терла тряпкой ступени и думала, какой хороший это подъезд. У жильцов хватает средств, чтобы сложиться на оплату труда уборщицы. Закрытый, с кодовым замком на железных дверях, а значит в него не заходит кто попало, не гадит и не справляет нужду, как это давно стало принято в промозглом призрачном городе, из поколения в поколения высасывающем из людей и жизненные соки и остатки достоинства. Мыть такой подъезд легче, чем другие подобные. Значит, и ей, Ольге Владимировне, тоже повезло.

Поздно вечером молодая женщина с холодными серыми глазами и напряженным неподвижным лицом, вздерну-

тая на высоченные каблуки (чем-то она напонила Ольге Владимировне невестку), стоя в дверях своей ярко освещенной нарядной квартиры, сказала, что не все жильцы сдали деньги, и она не может заплатить больше того, что есть. Протянутая сумма была ничтожной.

По дороге домой Ольга Владимировна думала, что лучше бы она совсем не бралась за это сомнительное дело (люди стали такими нечестными), а лучше бы закончила она переводы с немецкого, которые удалось достать в одном издательстве. Правда, и там платили мало, чаще всего с опозданиями. Должны были позвонить еще из одного издательства. Но не звонили. Мелькнула догадка, что, возможно, виноват Виталик.

Виталиком звали мужа второй соседки, Анжелы, которую Ольга Владимировна знала с младенчества, то есть с того дня, когда у соседей, простых ленинградских инженеров Кудряшовых, родилась девочка и ее назвали Анжелой. Потом родился мальчик и его назвали Денисом. В начале девяностых оба Кудряшовых умерли. Сначала она — от длительного изматывающего лейкоза, через полгода он — почти мгновенно, от сердечного приступа. Дениса в тот же год забрали в армию, и он пропал без вести в Чечне. Анжела осталась одна. В одночасье она превратилась из добродушной медлительной хохотушки в вульгарную крикливую и немного истеричную особу. И однажды она привела в квартиру Виталика.

Виталик приехал пытаться счастья в Северную Пальмиру с Кубани. Приземистый, с квадратным бритым затылком, Виталик постоянно вел по телефону какие-то деловые переговоры. Судя по отдельным словам, которые доносились из темноты коммунального коридора или невольно влетали в ухо, когда приходилось проходить мимо столика с телефоном, судя по этим отдельным словам, дела Виталика касались то недвижимости, то перепродажи каких-то товаров на рынке, то каких-то непонятных денежных оборотов. Похоже, дела Виталика шли успешно. Что ни день выносили на помойку старые вещи Кудряшовых, взамен

втаскивали массивные картонные коробки и предметы мебели. В мусорное ведро выбрасывали надкусанные сосиски, не говоря уже о хлебе. Для удобства переговоров Виталик провел параллельный аппарат к себе в комнату на прикроватную тумбу и на звонки обычно первый брал трубку, но если просили соседей, то, как правило, отвечал матерным словом и нажимал на кнопку отсоединения.

Вполне возможно, что из издательства наткнулись именно на Виталика, и тогда прощай заработок. Ольга Владимировна вздохнула. На трех работах не обеспечить существование. Всплывали в памяти тезисы из давно отвергнутой марксистской политэкономии. Но нет, к старому нет возврата, давно уже она покаялась, что учила когда-то марксизму. Надо жить и выживать сегодня. В этом сегодня, которое не имеет ни названия, ни образа.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день она опять с утра читала лекции. В той технической академии, где Ольга Владимировна преподавала философские дисциплины, было много студентов, которые платили за свое образование, за что к ним, в свою очередь, проявлялась снисходительность и на вступительных экзаменах и в дальнейшем, когда они учились. Кое-кто подъезжал на занятия в хороших автомобилях, почти у всех были мобильные телефоны. Ольга Владимировна знала, что есть преподаватели, которые уже давно берут определенные суммы за продвижение некоторых, недостаточно умных и добросовестных, но зато вполне обеспеченных ребят. Ей не раз намекали на этот способ быстро поправить свои дела, но что-то мешало ей согласиться. "Бери, ты всю жизнь трудишься, должна же быть какая-то награда", – шептал не раз лукавый голос у нее над ухом. "Нет, – думала Ольга Владимировна, – лучше я пойду и ограблю банк".

Почему-то, несмотря на очевидную несправедливость этого тезиса, необъяснимо для себя самой, она считала, что,

если уж выбирать из двух зол, то лучше ограбить банк, чем вступить в мутную круговую поруку купли-продажи того, что не может и не должно быть куплено или продано.

Игорь Глебович приходил всю неделю навеселе, временами в сильно запачканной одежде, иногда приносил продукты. Его друг, Прокофьев, у которого жена год назад уехала с какой-то сектой в тайгу, оставив его с двумя полувзрослыми детьми семнадцати и двадцати лет, со своей матерью, тещей Прокофьева, и судебным процессом по поводу незаконно проданной их общей и единственной двухкомнатной квартиры, в которой все оставшиеся в Питере теперь и жили, и за которую уже год судились с покупателем, – этот круглый неудачник Прокофьев учил Игоря Глебовича всякой житейской премудрости и они утешались по вечерам какими-то проектами разбогатения, непременно скорого и сверхъестественно большого. И всегда со стороны казалось, что в этих проектах, несмотря на их видимую стройность, не хватает чего-то самого главного, как не хватает этого главного в любом вечном двигателе. По ночам муж всхлипывал во сне как ребенок.

Соседка Люся через четыре дня после праздников слегла в больницу. Ее скрутили боли внизу живота, губы запеклись. Сказалось-таки безотходное стояние на холоде. Молоденькая фельдшерица "скорой помощи", тоненькая как стебелек, нести Люсю, конечно, не могла. Носилки с Люсей пришлось нести Игорю Глебовичу с Прокофьевым, благо, они были не слишком пьяны. И вот теперь, ко всем хлопотам, еще надо зайти к этой несчастной женщине в больницу, где она надолго и уже потеряла свою работу на овощах, да еще следить за сорванцом, который допоздна бегаёт по улицам, и курит, и матерится, и, кажется, обовшивел, надо будет специально осмотреть его более тщательно и вообще заняться им серьезно.

– И охота вам, Ольга Владимировна, возиться, – усмехнулась, пожала плечом Анжела. Она назвала мальчика грязным словом, сказала, что нормальные люди сдали бы в приемник, но у них, к сожалению, полная квартира при-

дурков. Что-то в ее тоне насторожило Ольгу Владимировну, на мгновение замерев в догадке, она крикнула в темноту коридора

– Вы что задумали, а? Люську на кладбище, мальчишку в приют, а комнату себе оттяпать? Воронье! Руки короткие, насося выкуси!

Из темноты коридора выплыло кривящееся полными красными губами лицо Анжелы

– Что это, Ольга Владимировна, вы так кричите, да такие неприличные слова? А еще интеллигентная женщина, верующая!

Она натянуто расхохоталась и картинно закурила сигарету из дорогой пачки "Мальборо", присев пышным задом в цветастом китайском халате на свой кухонный стол и глядя на соседку в упор без всякого, казалось, смущения и даже с насмешкой.

Ольга Владимировна удалилась к себе в комнату в большом смятении всех чувств. "Действительно, что это я, такими словами, таким тоном, " – думала она с укоризной себе. Смущение было оттого, что вот опять она не соответствует званию истинной христианки. "Господи, прости меня!" – повторяла она про себя. "И ее прости, их обоих прости, не понимают они, что делают!" Она вспомнила, что надо по правилам пойти попросить теперь прощения у Анжелы, но не находила в себе сил. То ли это из коридора ощущалось веяние холода такой силы, что внутри уже не находилось столько тепла, чтобы такой холод преодолеть, то ли просто не приходила в голову мысль, как дать понять, что хоть и просит она прощения, но вовсе не потому, что испугалась, и что все равно не отступится она от Женьки с Люсей, не отойдет в сторону, как бы не замечая происходящего. Ольга Владимировна совсем запуталась и в бессильном изнеможении села на диван, глядя в стену: "Господи, помоги мне, недоумку!"

ЗАДОЛГО до Рождества она решила, что пойдет в церковь одна в Сочельник и причастится отдельно от своих, чтобы не нарушать свое участие в Таинстве многозаботливостью, которая, как хорошо ей было известно, отвлекает от Бога и сушит душу. Впрочем, с каждым днем ей все меньше верилось, что это удастся и что-нибудь, какая-нибудь новая забота или досада не встанут на пути. Но в предпоследний день перед праздником, возвращаясь с работы в переполненном троллейбусе, она вдруг поняла, что дни впереди у нее, похоже, свободны, что ничего срочного, слава Богу, не предвидится и – она боялась напрасно утвердиться в этой надежде – но, кажется, она действительно сможет пойти в церковь так, как хотела.

Троллейбус, наполненный плотно прижатыми друг к другу людьми, их отработанным дыханием, испарениями их мокрой одежды, внезапно трогаясь с места и так же резко останавливаясь, переваливаясь с боку на бок, скрипя и звякая, шел по Невскому. Вот и Дворцовая площадь, простор. Мельтешат снежинки в фонарных лучах. Подсветка выхватывает из тьмы капризное барокко Зимнего справа и строгую величественную простоту Адмиралтейства слева. Странно, но город уже не кажется ей, как бывало, ледяной пустыней, полной изысканных миражей. Все выглядит иначе. Расколдованные силуэты дворцов и монументов звучат сейчас рукотворным гимном Творцу.

Дома ее ждут некоторые утешительные новости. Глеб звонил и обещал придти с женой на рождественский обед. Из больницы звонили от Люси и передали, что она хорошо перенесла операцию, ближайшие три дня ни в чем не нуждается, но беспокоится только о сыне и просит его не оставить. У Прокофьева старшая дочь объявила, что выходит замуж за адвоката. Венчаться будут в Никольском соборе. Игорь Глебович почему-то трезвый и отремонтировал уже месяц как сломанный холодильник, и можно теперь не складывать продукты между оконных рам, а человечески разместить их где надо. Заходил участковый милиционер и расспрашивал про Виталика, которого, ока-

зывается, за что-то разыскивают и, похоже, он скрылся и не скоро появится. Женька, будучи вымыт и обследован, не обнаружил вшивости и даже не стремился никуда убежать, а спокойно сидел у себя в комнате и смотрел по телевизору мультики. Посчитав деньги в коробке из-под конфет, Ольга Владимировна поняла, что хватит и на мед для сочива, и на куриные ножки для розговен и даже на бутылку хорошего сухого красного виноградного вина. Словом, все как-то устраивалось, и в душу стала понемногу сходить тишина.

Утром по хрусткому снежку, под звездами, неожиданно яркими для тяжелого питерского неба, среди сонных домов Васильевского острова, где лишь по два-три окна было освещено, прошла она в открытую недавно рядом с домом церковь. В здании церкви при советской власти около пятидесяти лет была какая-то организация, и теперь все оно было покрыто лесами снаружи и внутри. Но запах хвой и свежееоструганного дерева, но мерцание свечного и лампадного пламени, но золотые блики на старинных образах, но еще что-то – сверхъестественное и необъяснимое словами – одухотворяли внутренность храма, и не думалось ни о лесах, ни об отвалившейся штукатурке, ни о чем таком .

Народу набилось много. Каменный пол храма был покрыт черным тающим снегом. Как всегда бывает по утрам, больше всего людей собралось у исповедного анаоя. Вышел один из трех клириков храма: самый старенький, сгорбленный и совершенно беззубый. Он начал проповедь перед общей исповедью. Ольга Владимировна знала, что этот батюшка всегда говорит очень долго, а сейчас, к тому же, из-за стечения народа и из-за того, что началась служба и запел хор, было совершенно не слышно, что он говорит. Раньше она всегда внутренне напрягалась, чтобы не замечать несообразностей в отпращивании службы, но сейчас почему-то все это уже не было важно. Она начала мысленно перебирать свои многочисленные грехи и просить у Бога за них прощения. И когда дошла до нее очередь, она

уже совсем выговорила внутренне, до того, что потекли слезы, и она уже почти ничего не могла сказать, кроме: "Простите, батюшка, кругом я грешна, и особенно тем, что безрадостна и уныла". "И-и, матушка", протяжно сказал священник, – "это от маловерия", – он подчеркнул голосом последнее слово. "Вот, взгляни на эту икону", – продолжил он через мгновение молчания. "Веришь ли ты, что Он родился на соломе, в хлеву? Подумай, на скотном дворе, а не во дворце. А водился с кем? С праведниками? Сама знаешь, вижу, грамотная, что пришел призвать "не праведников, но грешников на покаяние". Так вот, за грехи этих грешников и заплатил Он своею Кровью и Плотью. Подумай, этот Чудный Младенец явился в мир, чтобы Собою заплатить за грехи наши, и твои, значит, и мои, и всех нас. Таков закон – ничего не бывает бесплатно, сама знаешь, какова жизнь. А теперь вспомни, наши грехи уже, выражаясь современным языком, вперед заплачены, мы выкуплены уже у зла, и какой страшной ценой совершена эта предоплата! Осталось нам всем крепко подумать, со Христом каждый из нас или вне Его. А ты, если знаешь, что Христова, так иди за Ним. Не можешь идти, так хоть ползи, но в том же направлении. И не печалься, праздник какой наступает! Иди с миром и радостью". Он накрыл ее склоненную голову епитрахилью и перекрестил с быстрою молитвой.

ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ печаль действительно словно смыло с души. Удивительный мир и легкость пришли на смену мучительной тревоге, которая еще недавно грызла сердце.

Домой она вернулась, когда серенький день с колючей мелкой метелью уже вступил в свои права. Из комнаты пахло благоуханным ладанно-хвойным теплом – с мороза. Теплилась лампадка у образов в глубине комнаты. Переливалась блестками елка. Стол был застелен белой ска-

тертью и посреди светилась гранями хрустальная чаша, куда вечером положат сочиво. Горела маленькая настенная лампа у входа в комнату, рядом с кроватью близняшек. В широкое кресло у лампы втиснулись Женька в чистой белой рубашечке и Соня с толстым томом на коленях. Соня тихо читала какую-то сказку. Все остальные еще спали: Вера на втором ярусе, открыв рот и свернувшись калачиком, Игорь Глебович на диване у елки и припозднившийся с вечера Прокофьев по имени Алексей на коротеньком подростковом матрасе, положенном на пол почти под елку, накрытый красно-зеленым пледом. Соня тихо читала: "И когда оказалось, что его сердце способно сострадать, старику открылось то, что прежде было скрыто. Он вдруг увидел вокруг младенца маленьких ангелочков с серебряными крылышками, в руках у каждого была арфа, и они, ликуя, пели о том, что в эту ночь родился Спаситель, который искупит грехи людей и спасет их души"¹.

Мысленно Ольга Владимировна горячо помолилась. Сначала за тех, кто был в комнате. Потом за всех, кто был сейчас вне этого убогого жилища, которое представилось ей на мгновение мирным и прочным ковчегом среди бурных волн жизни. И сердце ее наполнилось горячей благодарностью за все, что было с нею до сих пор, и за все, что еще будет. Она смахнула слезу и прошептала: "Родные мои... Вот и дожили мы до Рождества".

Ноябрь-декабрь 2002

¹ С.ЛАГЕРЛЕФ, Святая ночь.

ЗАПИСКА

*"И обращу на тебя руку Мою,
и как в щелочи очишу с тебя примесь,
и отделю от тебя все свинцовое".
(Ис. 1,25)*

ЕЩЕ раз пересчитать деньги. На пятнадцать он купит буханку черного хлеба и батон белого. Это они съедят за день. Еще десять потратит, как задумал, и тогда останется пять. Можно, конечно, остаток после покупки хлеба потратить тоже на еду. Докупить чего-нибудь. Может, молока или яиц. Но эту жалкую порцию все равно не растянуть до следующего ожидаемого получения денег. Так, что он делает все, как решилось, без рассуждений.

Вася накинул легкую курточку и, стараясь не стучать, вышел из квартиры.

Стояла ранняя осень. Тихая и яркая. Волны сырого стужающего воздуха просачивались сквозь нагретые солнцем высокие облака, гуляли по городу, неожиданно вылетали откуда-нибудь из-за угла знобким ветерком. Дрожала в городских садах золотая листва на фоне ясного холодного неба. Дрожала и летела на землю, планируя сквозь изящное чугунное литье решеток и оград.

Вася, не спеша, но ровным бодрым шагом направлялся по своему делу. Лет ему было восемнадцать, лицо бледное, овальной правильной формы, волосы светлые, серые глаза смотрели внимательно и прямо.

Прошлой весной его должны были по всем предположениям забрать в армию. Но не забрали. У него на руках была мать, которая передвигалась только на инвалидной коляске, и десятилетняя сестра. По правде говоря, на эти обстоятельства военное начальство вначале не стало обращать внимание. Потому что в военкомате был недобор новобранцев, а начальство хотело успешно отчитаться в

проделанной работе. Это были все люди солидные. Им надо было кормить и содержать свои семьи, детей. И от того, как успешно соберут они людей в армию, зависело благополучие их близких. Однако, Вася решил побороться, проявил настойчивость и смекалку, доказал свои законные права и остался дома.

Теперь ему было немного совестно в глубине души, что он не пошел со всеми отбывать тяжелую и опасную долю, а получил какую-то привилегию.

Опять же надо было придумать, на что жить теперь им троим.

Вася родился и прожил всю жизнь в городе, носящем имя Святого Апостола Петра. Перед началом третьего тысячелетия от Рождества Христова в этом большом северном городе как прежде рождались, жили и умирали люди. Далеко не все из них верили в Спасителя, еще меньшее количество было всерьез озабочено спасением души. Построенный, чтобы Россия не была хуже Европы в глазах последней, Город не принадлежал уже никогда к сонной созерцательной Руси, но и не стал вполне европейским, так как не унаследовал добропорядочный уют колыбели мировой цивилизации, несмотря на очевидную, воспетую многими поэтами, красоту. Со времени построения Города Россия дыбилась и время от времени даже уничтожала своих самодержцев, а когда покончила, наконец, с ними совсем, то стало еще хуже. Люди стали уничтожать друг друга. Потом они устали от крови, проклятий и нищеты, увидели, что возделенное благоденствие так и не наступило, стали спорить о том, кто виноват, подумали и договорились, что напрасно они, по-видимому, завели между собой полное равенство. Такого, теперь уж ясно, быть не может, одна пустая мечта. Люди подумали, поспорили и решили, что должны быть все же богатые и бедные, слуги и господа, что так будет лучше, страна станет, наконец, процветающей. Только надо быстро разделить и избавиться от постылого равенства. Люди вспомнили, что также напрасно отме-

нили они Бога. Освященный веками порядок был куда как более надежен.

Все очень озаботились своим местом в новом обществе. Одни – тем, чтобы это место оказалось достойным их самооценки, другие волновались уже о том, чтобы не быть сметенными толпой искателей счастья. Кто чем. Людям стало еще труднее понимать друг друга. Опять стали искать правых и виноватых, только с другим подходом к вопросу. Опять полилась кровь.

В этой битве каждого с каждым Васиной семье досталось незавидное место. Надо было думать, как им прожить теперь втроем, когда с матерью случилось это несчастье, когда отчим ушел от них и не приносил денег, а алименты от Васиного отца уже много лет как перестали поступать. Надо было найти работу. Вася верил в спасение души, но молодость брала свое. И не давала покоя любовь к близким.

Работа подходящая никак не встречалась. То есть объявлений о найме на работу было много вокруг: на заборах, на водосточных трубах, в газетах. Но в одних местах требовались "крепкие мужчины старше двадцати", в других спрашивали опыт работы или документ об образовании, в третьих заработок предлагали такой, что хватило бы на питание одного человека, и только, а работать надо было за такой прибыток тяжело, на износ. Встречались и такие работодатели, что просили сперва внести определенную сумму денег, обещая научить некоему успешному ведению бизнеса и что в считанные месяцы вложенная сумма вернется многократно. Таковых Вася сторонился.

Он верил, что рано или поздно все образуется. Но надо было очень сосредоточиться, чтобы не дать этой уверенности растаять, чтобы не дать ей просочиться сквозь дыры, пробиваемые судьбой ежедневно в душе его, не заслоненной крепким смирением.

ВАСЯ подошел к кованым ажурным воротам небольшого садика и по асфальтовой дорожке, полужасыпанной сейчас нарядной листвой, подошел к деревянным резным дверям. Это были двери большого старинного храма, который стоял недалеко от их дома и куда они часто ходили с сестрой и матерью, когда мать была еще здорова.

С тех пор как мать тяжело заболела, он почти не бывал в храме.

Сейчас он перекрестился благоговейно, поклонился святому образу над дверным проемом и вошел.

В храме было прохладно и сумрачно. Полумрак слегка рассеивался от свечного пламени. На солее псаломщик монотонно читал часы. Людей было немного, как обычно в будни. У свечного прилавка не было никого. Свечница что-то считала на счетах.

Еще вчера после вечерни Вася осведомился, сколько стоит заказать молебен, и теперь уверенно подал записку и деньги. Женщина прочла что написано, и на лице ее выразилось удивление.

– У вас тут три молебна, – женщина была в очках, в малиновом шерстяном берете, и чем-то напоминала по виду школьную учительницу.

– Как же три, матушка, – приветливо и даже отчасти глуповато возразил Вася – если прошение одно и человек один, то есть имя человека одно?

– Три святых, значит, три молебна.

Вася хотел поправить, что в записке Пресвятая Богородица и двое святых, но сдержался, чтобы не перечить старшим.

– Так вы отдайте батюшке, на его усмотрение, – простодушно ответил он и пошел в глубь храма, в полумрак, к исповедному аналою.

В деревне Колоколыцы, где они жили обычно летом, батюшка Никифор всегда запросто брал записки и служил, как просили. Хоть одному святому, хоть трем.

– Мне будет выговор от священника, – растерянно пролепетала свечница ему вслед.

Какой выговор? За что? Недоумение осталось где-то позади. Сейчас надо было отринуть все мелочи и предать себя Тому, кто является Источником и Владыкой всей жизни нашей. А в конце службы еще попросить и Матерь Его и святых его о заступничестве и об облегчении, насколько возможно, житейских тягот. Такую задачу поставил Вася себе на утренние часы, перед тем как идти на работу. Работой называл он свое пребывание на ближайшем рынке, где выпадали, время от времени случайные заработки принести-подать, и где был знакомый пожилой азербайджанец Юсиф Анарович, который был к нему добр и часто давал заработать немного.

Вася встал возле исповедного аналая, где уже собирались люди, пять-шесть человек, не более. Внутреннее беспокойство от разговора со свечницей отошло.

Вася стал слушать слова молитв, готовясь к исповеди.

Как нелегко человеку смириться пред волей Божией. Вася вырос в этом городе. Здесь у него было много родственников и знакомых. До полосы несчастий, постигших их семью, дом был всегда полон гостей. Но одни сейчас бедствовали так же, другие умерли или уехали очень далеко. Третьи, хоть и были сами устроены, в ответ на просьбы о помощи долго объясняли собственные затруднения, говорили о долгах, в которых остались после ремонта квартиры или отправки детей на учебу за границу, они назидательно советовали трудиться и пробиваться самостоятельно, приводя примеры из собственной нелегкой юности. Некоторые делали вид, что не поняли просьбы. В одном сходились все советчики: Иринку необходимо отдать в интернат на государственное обеспечение. Говорили это все с каким то даже, казалось, скрытым упреком. Так, что даже становилось стыдно за свое нежелание отдавать сестру в учреждение. Такое нежелание казалось уже в иную минуту малодушием.

ИЗ-ЗА КОЛОННЫ осторожно появилась свечница в берете.

– Вы знаете, это какое-то искушение, – стала вполголоса торопливо объяснять она. – Я посоветовалась с коллегой, – она так и сказала "с коллегой", – если у вас совсем нет денег, отдайте сами в руки батюшке эту записку вместе с этой одной десяткой.

– Ах, деньги, – с облегчением сказал Вася. – Вот оно что, наконец-то я догадался. А то все не пойму, что такое. Если надо доплатить, то, пожалуйста.

И он без колебаний вынул остальные две десятки. Ему было жаль денег, мелькнуло беспокойство, что семья рискует остаться без хлеба на день, но вычеркивать имена святых из записки рука не поднималась. Да и чувствовал он: грех жалеть деньги, перед тем как собираешься просить о столь многом. С деньгами надо уметь расставаться без сожалений. Вася подумал, как, должно быть, трудно содержать в порядке такой большой храм, как дорого стоят ремонт, реставрация и электричество, какого сильного душевного напряжения стоит обеспечить бесперебойный порядок в отправлении служб и исполнительность работающих здесь людей. Потому-то и кажется иногда, что храм похож на предприятие.

Он решил опять думать о своих грехах. Скосил глаза в сторону. В боковой стене чуть поодаль наверху было высокое окно с резными рамами, сквозь которое проникало внутрь небольшое количество света. Было видно голубое небо и как по краю окна снаружи сосредоточенно ходил туда-сюда сизый голубь. Иринка очень боится интерната. Невозможно примириться с мыслью о том, чтобы отдать ее туда. Все бунтует внутри. Да что это, никак не думается о грехах.... Нарушением постом, прекословием, непослушанием.... Он вспомнил, как еще совсем недавно учился в школе. Был старательным, не по-мальчишески ответственным. С уроками сидел до полуночи и все равно не успевал все. Однажды вздумалось ему посчитать, сколько времени понадобится, если быстро, но

добросовестно выполнить все, заданное учителями. Оказалось, впору закончить к утру. Это открытие сокрушило его веру в порядок, а также в то, что взрослые всегда твердо знают, что делают.... Прекословием, непослушанием – что еще? – а вот, мшелоимством.... Это слово, прочитанное в брошюре по подготовке к исповеди, долго не давалось ему. Наконец, он где-то прочел объяснение и долго не мог применить данный грех к себе, пока не причислил к нему свою любовь к собиранию разных гаечек, железок и шпунтиков. Хотя они иногда и очень пригождались в хозяйстве.... Работа нужна не просто с деньгами, но чтобы еще оставалось время на уход за матерью, на стирку. Иринка отлично научилась готовить. Ну, не готовить – варить макароны, к примеру, умеет. Ох, опять отвлекаюсь, грешник окаянный. Рассеянностью, нетерпением.... Все советуют отдать ее в интернат. Доброжелатели. Вроде уже не положено в такой нищете иметь привязанность друг к другу и вообще какие-то чувства. Чувства, дескать, ныне роскошь. Не имеешь, чем заплатить, не имей и чувств.

Еще с тех времен, как Вася ходил в воскресную школу при храме, у него была большая вера в общую со священником молитву. Он верил, что молитва священнослужителя наиболее доходчива до Бога. Как и благословение иерея, так и совместная с ним молитва – это дары мирянам через таинство священства. Таинство совершается над одним человеком, но свет от него достигает многих.

Так говорилось в катехизисе, так показывал и небольшой Васин духовный опыт. Он часто задумывался: почему так? Зачем так устроено? Ведь бывают такие благочестивые миряне, что всем пример, и наоборот – священники, к которым нужно снисходить, закрывая глаза на их слабости. Однажды он отважился спросить об этом законоучителя. Уроки вел Виталий Сергеевич, студент пединститута, будущий учитель физики, который закончил катихизаторские курсы и получил благословение работать при храме с детьми. Он был не намного старше Васи и, услышав воп-

рос, улыбнулся с пониманием, потом ненадолго задумался, подбирая слова, и, наконец, ответил

– Я тоже часто об этом думал. Ну, что ж – Виталий Сергеевич перекрестился, – не дерзаю богословствовать, но предполагаю в простоте – это для того, чтобы овцы не разбрелись. – Он еще ненадолго задумался, потом поправил очки и погладил редкую кудрявую русую бородку. – Любовь человеческая оскудеет во многих, но Церковь простит до скончания века и врата адовы не одолеют ее.

Где то сейчас Виталий Сергеевич? Говорят, женился и работает в коммерции.

Все продумано в Божьем замысле выше естественного разума. Верю в Твою благодать. Прости, Отче, что приступаю к покаянию с холодным сердцем, не болезнующим о грехах своих, без слез.

Подошла Васина очередь исповедываться. Он стал по бумажке читать все свои грехи, как он их выписал из печатного руководства по исповеди, все, что нашел в себе за последнее время.

– Ну, вы покайтесь во всем этом? – усталым голосом прервал его незнакомый пожилой священник. И, получив утвердительный ответ, накрыл его епитрахилью.

"Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых", – пел хор.

ХРАМ был построен два века назад во времена моды на роскошь. Поэтому внутри он весь сверкал позолотой, пухлые ангелочки в скульптурных группах напоминали античных купидонов. Лица святых были румяны. Жесты томны. И только на самом верху под куполом, над всем блеском и великолепием вознесен был скромный медальон в овальной раме. Внутри на полотне был написан непроглядный мрак ночи, деревянный крест, иссиня-бледное Тело в неестественной и мучительной позе, с сочащейся из ран темной Кровью, раскинув руки и запрокинув голову, в мольбе.

И те из молящихся, кто поднимал взор кверху, чей взгляд, скользя по рядам икон, достигал верхнего края, видели этот Образ последним. Как последней бывает точка в предложении. Или аминь в молитве. Или приговор в суде. Или надежда, мелькнувшая в море безнадёжия.

После службы Вася стал дожидаться молебна у аналоя, покрытого золотой парчовой тканью, в центре храма. Вышел священник, отец Павел. Молодой, высокий, гладко выбритый и коротко остриженный. Этот батюшка был хорошо образован и слыл большим эрудитом. Он знал творчество Достоевского и любил цитировать великого писателя в своих проповедях. Голос у него был красивый, манера говорить убедительная. Батюшка был деловит, и умело распоряжался. Несмотря на молодость, он уже занимал видное место в храме – пост ключаря.

Тут Вася заметил, что его записки на аналое нет. Кинулся к свечнице.

– Все отнесли, – заверила та. – Успокойтесь, все будет в порядке.

Пресвятая Богородице, спаси нас! Отошел заздравный молебен.

– Батюшка, моей записки не было, – сказал Вася.

– Я все прочел, – ответил отец Павел в своей обычной манере, не терпящей возражений.

– У меня была не обычная заздравная, а другая.

– Не может быть, – опять отрезал батюшка, но стал везде шарить и наконец нашел потерянную записку, заложенной в требник отдельно от других.

– Да, действительно, – сказал он негромко и вдруг, резко повысив голос, спросил. – Это еще что такое? Что вы тут пишете?

– Что такое? – пролепетал Вася.

– О даровании заработка, ничего себе. – Он взглянул на Васю с грозной укоризной, и сердце у Васи словно упало на дно глубокого колодца. – Может, у вас крест такой – жить без заработка? – последние два слова он намеренно подчеркнул голосом и осмотрел Васю с ног до головы.

Вася почувствовал, как над колодцем захлопнулась крышка.

– Может и крест, – тихо сказал он, – но ведь молиться можно?

– Что-о? – переспросил священник опять повышенным тоном.

– Ну, об устройстве дел, об избавлении от бедствий, – с бессильной настойчивостью продолжал Вася.

– Согласен, – сказал иерей примирительно. – Буду служить, но позже. – Он стал собирать книги с аналая.

– А когда?

– Вы можете подождать священника? – опять повышенным тоном, внушающим трепет и чувство вины, спросил отец Павел.

Вася принялся ждать.

У него появилась мысль, что можно было бы и уйти. Он все сделал, что от него зависело, и Господь примет намерение. Но что-то удерживало его.

Он решил ждать. Чтобы ожидание не было бесполезной тратой времени, стал думать о своих грехах. Потому, что так положено и везде написано, что надо думать о своих грехах. Постепенно и незаметно для Васи точка внутреннего зрения у него изменилась. Он увидел самого себя как бы со стороны.

Он увидел свое смирение. И какое это было смирение! Так, вероятно, стояли святые праведники у ворот избранной ими для спасения обители, опустив голову, не смея войти, каясь и прося прощения у каждого встречного... .

Эта, нарисованная услужливой рукой в воображении картина вроде бы усыпляла боль растравленного самолюбия. Однако, сама по себе приятность этого чувства была какой-то липкой, фальшивой. Потом Вася почувствовал шум в ушах, сильное сердцебиение и все признаки приближающегося обморока.

Пришлось сесть. На сундук у стены напротив амвона, где обычно во время службы рассаживались старухи.

Иринка уже умеет готовить макароны. Мама вяжет. Можно продавать носки и варежки. Выстоим как-нибудь, прорвемся. Господь не оставит. Самое главное – найти работу. А время идет! Пора уже на рынок. Там знакомый торговец Толик просил подменить его ненадолго у прилавка с запчастями и радиодеталями. Да и Юсиф Анарович сегодня там торгует тоже. Но надо ждать. Надо непременно дожидаться.

Та же рука, услужливо рисующая картины, предложила незаметно другую. Пойти у всех попросить прощения: у свечницы, у батюшки, у всех остальных. И смиренно пойти восвояси. Это будет очень по-православному! Совсем как написано в книгах. Однако Вася уже пытался в своей не очень долгой жизни изображать смирение, и он знал, что легко можно изобразить смирение и прошение внешним действием, но очень трудно – без помощи Божией невозможно – стяжать в себе прочный мир и способность к прощению. Между тем, внутри уже зародилась и начала быстро разрастаться обида. Он боялся, что если уйдет, то уже больше не вернется сюда. Может и вообще в церковь перестанет ходить. К тому же, денег на другой молебен уже не было, и его надежда обрести заработок остается неподкрепленной. А что, если это сам Господь не принимает его молитв? Холодный, проникающий во все уголки страх сковал Васю. Он почувствовал, что его душевные силы на исходе. Нет, это никуда не годится! Он стал читать про себя "Взбранной Воеводе...", прося помощи у Заступницы рода христианского. Как учила его мать.

ОТЕЦ Павел вышел из алтаря к молодой женщине, одетой в узенькое пятнистое пальто, как бы сделанное из крокодиловой кожи, и в таких же крокодиловых сапогах на высоких каблуках. Золотистые блестящие волосы девушки свободно рассыпались по плечам. Она принесла золотой крестик на цепочке, освятить. Сначала батюшка и

она долго разговаривали и улыбались как добрые знакомые. Даже смеялись. Потом священник вернулся из алтаря с освященным крестиком на металлической тарелочке. Посмотрел сквозь Васю и ушел.

Опять потянулось ожидание. Вася встал и подошел к свечнице.

– Я вас очень прошу, я себя плохо чувствую, возьмите, пожалуйста, у батюшки записку, верните мне деньги, я заплачу молебен потом, в другом месте.

– Он взял записку в алтарь? – испуганно переспросила свечница. – Я не могу туда идти. Но его уже предупредили, что люди ждут. Накопится народу побольше, чтобы разом для всех отслужить, время лишнее не тратить, он и отслужит. Обязательно отслужит, не волнуйтесь. У нас во всем порядок. – Свечница посмотрела на Васю сочувственно.

Мама не переживет, если Иринку придется все-таки отдать в интернат. Она может сникнуть и не поправится тогда уже никогда. Он должен напярчь все силы, бороться, даже если придется оскалить зубы до волчьего оскала...

Это плохо, если до волчьего. Нельзя человеку становиться волком.

Вася подошел к баку со святой водой. Но под краном было сухо, и стакана нигде рядом не было. Головокружение не проходило. В последнее время с ним все чаще происходили приступы головокружения. Возможно, он недостаточно много ест.

Вася чувствовал, что если уйдет отсюда, ему не пережить будет обиду, и он уже боялся сам себя. Он знал, что сейчас самое главное – устоять самому, внутри себя не измениться. Стать каменным для обиды и осуждения, не пустить их внутрь! Господи, помоги! Это потом уж – стяжать любовь ко всем. А сейчас – не сломаться, залатать дыры, прекратить сквозняк и не впустить внутрь холод.

ПРИБЛИЖАЛОСЬ время поздней литургии. Заздравных записок на аналое и людей вокруг него было уже порядочное количество. Наконец, вышел и отец Павел. Звучным голосом он начал молебен.

До последней минуты Вася боялся, что опять не услышит ожидаемого. Но вот прозвучала молитва Матери Божией, Заступнице усердной рода христианского, через многие дивные свои образа, изливающей милости скорбящим, изводящей из нищеты, бедствий и сомнений. Потом молитва Николаю Угоднику, тайному раздаятелю милостыни. Мученику Трифону – победителю бесов, покровителю безработных.

Прошло головокружение и слабость. В душе воцарился радостный и тихий мир. Все казались милыми и хорошими – прихожане, молящиеся рядом, свечница в малиновом берете, батюшка. Это была победа.

И это было второе рождение. С этого момента и на всю дальнейшую жизнь Вася почувствовал себя необыкновенно свободным.

КОГДА Вася выходил из храма, отец Павел внимательно посмотрел вслед этому парню в легкой поношенной курточке. Что-то настораживало в нем, что-то неуловимо непривычное в поведении, с чем одновременно трудно было не согласиться. Отец Павел посмотрел вслед, и неожиданно теплое чувство к этому странному молодому прихожанину шевельнулось в нем.

Октябрь 2002 – ноябрь 2003

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

*"Он же в ответ сказал одному из них: друг!
я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился
со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать
этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен
в своем делать, что хочу?"
(Евангелие от Матфея 20, 13).*

1.

ГЕНКА Вяхирев проснулся, когда розовое солнце поднялось над лесом и стало понемногу, разгоняя остатки тумана, согревать воздух. Генка нашел себя лежащим в сырой траве. Затылок и левую щеку саднило. Видимо, расцарапался шипастыми ветками крыжовника, под кустом которого находилась сейчас голова. Лицо и руки распухли, покусанные мошкой и комарами. Перед глазами было линялое пустое небо. Оттуда издевательски прокаркала невидимая ворона, где-то неожиданно близко отозвался ей петух, далеко в стороне пролаяла собака. Тянуло дымком незнакомого очага.

– Во-от те на... – хрипло выговорил Генка. Потом он крякнул и попытался подняться.

От этого движения замутило невыносимо. Все болело внутри и снаружи отравленного организма. Он все же сделал усилие и оказался лицом вплотную к пленочной пропотелой изнутри стенкой большого парника. За парником тянулись картофельные ряды с белыми и лиловыми цветами, а дальше была видна темная, из выцветшего серого горбыля, стена чужого двора, примыкавшего к задней же стене деревянного дома, давно не крашенного, с остатками голубой краски, облезшей повсюду и выцветшей.

Место не поддавалось узнаванию. Что было вчера вспоминалось с трудом. Помнил, как зашли к Нюшке-цыганке за последней поллитрой. Колька Лысый ждал во дворе. Дальше все начисто стерлось из памяти.

Его трясло, но не от утреннего холода. Мучила обычная похмельная лихоманка. Надо было срочно поправиться. Но где, если карманы пусты? Гришаня. Вот кто выручит.

Генка вспомнил, что приехал вчера утром к себе на дачу Гришаня, его троюродный брат. У Гришани всегда есть маленько, он непьющий. Да, правда, баба у него злая, Наташка.

При воспоминании о супруге брата Генка заробел и задумался, чем бы умаслить эту почтенную даму, из городских и образованных. Клубники что ли надобать у теши на огороде? Мысль его работала напряженно. Нет, к теще сегодня понаехали помошнички, полон двор, не проскочить незамеченным, как бывало. Что же делать? Ух, как тошно.

Взгляд Генки упал на полиэтиленовую стенку парника, к которой изнутри влажно и тесно лепились широкие светло-зеленые листья, завитки усов и желтые цветы. Нет, только не это. У теши все же свое беру, даром что ли вкалываю на ее.

Минута сомнений, и он размашисто перекрестился.

– Э-эх, прости-Господи, пропащий я человек...

Дрожащими руками отвалил кирпич, который подпирал дверцу парника снаружи, и стал торопливо обрывать зеленцы, набирая их в карманы и за пазуху.

Через полчаса он уже выбрался задворками из незнакомого огорода на лесную дорогу, а там и на проселок и шагал, согнувшись тяжело, в гору к своему дому на выселках, шаркая резиновыми сапогами то по асфальту шоссе, то по влажному сбитому песку обочины.

Когда он проходил мимо дома бабы Кузнечихи, эта ветхая прародительница многочисленного клана внуков и правнуков, которая, не владея ногами к своим девяноста восьми годам, сидела теперь ежедневно у открытого окошка, имея единственным развлечением комментировать проходящих мимо, эта наблюдательная пожилая женщина проводила взглядом Генкину спину и сказала с задумчивой укоризной

– И куды наладился с утра пораньше? Пропащ-ший человек.

В СВОИ почти шестьдесят лет Генка прочно стяжал среди односельчан славу человека, пустого, нестоящего. И не потому, что пил. Пили в деревне почти все мужики. Да не просто пили: то и дело доходило до потери рассудка, до белой горячки, до тяжелых отравлений. Почти раз в месяц кого-нибудь возили в районную больницу на "скорой", а, глядишь, и того хуже – ногами вперед, на погост. Нет, не из-за пьянки считали Генку пропащим. И не в том была причина, что случалось ему подворовывать. Воровством в деревне тоже мало кто брезговал. Еще в советские времена трудно было прожить, не потаскивая государственное добро. В послесоветские времена без того стало не прожить вовсе. Разруха и голод довершили дело: тащить начали друг у друга, с огородов, из сеной все, что плохо лежало. Началось неслыханное до того: взломы запертых жилых домов. Тоннами воровали лес какие-то пришлые люди с крепкими затылками, оставляя на делянках пни с человека ростом да бурелом из несортных деревьев. Воровство становилось делом почти обычным. Молодежь частенько начинала свой жизненный путь с тюрьмы, попадаясь на мелких кражах и драках. Нет, не за это считали Генку Вяхирева пропащим человеком. Так почему же? А леший его знает. Не по-людски как-то у него все выходило. Вот-вот, не по-людски.

Люди рассуждали бесхитростно, опираясь на наиболее очевидный и материально осязаемый результат. И получалось: украл и пристроил к делу – правильно поступил (если, конечно, тебя не изловили, не начистили физиономию, не свели в отделение, словом, если обошлось, и украл ты у дурака, не умеющего защитить свое добро). И наоборот: украл да сразу пропил – пустой человек.

А так как нашего героя заставляла, как правило, прибегать к похищению чужой собственности именно неутолимая жажда, то его и перестали со временем принимать всерьез, и слава пропащего закрепилась за ним. Умение жить прочно – вот что значило в глазах общественного мнения быть положительным человеком. У нашего героя такой прочности не было.

ПОДХОДЯ к дому своего родственника со стороны двора, задней калиткой, выходящей в жидкую рошицу, за которой тянулись покосы, Генка стряхнул ветки и песок с брюк, заправил рубаху и одернул болоневую темную потрепанную ветровку. Попытался пригладить волосы, стараясь унять дрожь в руках. Но не получалось ладно, руки по-прежнему ходили ходуном. Тогда он махнул правой безнадежно и прошел на участок к узкому, на три окна, и вытянутому дому на высокой подклети, нагнулся, чтобы войти в низкий дверной проем, сделанный в подклети у самой земли, по ступенькам поднялся вверх в сени.

Сени были переделаны под современную дачную кухню. Здесь была установлена газовая плита с четырех конфорках, стоял большой холодильник

В раковине под рукомойником сейчас виднелась груда грязной посуды, а клеенка на столе была покрыта хлебными крошками и обрезками колбасных оболочек.

Сейчас в сенях никого не было. Веселенькая занавеска светила на маленьком оконце, в луче летали пылинки. Здоровенная муха с тщетным возмущением билась о стекло.

— Эй, есть дома кто? — гаркнул Генка, стараясь придать голосу как можно больше бодрости.

Ответа не было. И Генкина рука уже как-то сама собой потянулась к ручке холодильника, где, с большой долей вероятности, было именно то, за чем он сюда пришел.

В этот момент за обитой черным дерматином дверью в избу послышались мелкие шажки, дверь приоткрылась, через высокий порог переступила босая грязная пухленькая ножка, а за ней появилась хорошенькая девочка лет пяти с растрепанными светлыми волосами и в нарядном розовом платье с пышными оборками.

Девочка перешагнула через высокий порог, взглянула ясными, с холодком глазками на Генку, потом повернулась к нему спиной, показав пышный лиловый бант сзади,

и, просунув голову в дверь, крикнула кому-то в комнату, продолжая вероятно начатый давеча в комнате спор

– Дура, сама будешь мыть свою посуду!

– Нет, сейчас твоя очередь, – настойчиво ответил из комнаты чей-то тоненький голосок.

Девочка еще раз, что-то прикидывая теперь в уме, взглянула на гостя и, просунув опять голову в избу, крикнула

– Генка пришел, стоит на кухне!

Довольная, видимо, что переключила внимание с ненавистной посуды на столь удачно подвернувшегося Генку, девчушка побежала во двор.

Молчание за дверью продолжалось. Генке было очень плохо. Болело и трепетало сердце. Кололо в правом боку. Во рту пересохло. Он нерешительно приоткрыл дверь и просунулся внутрь зимней части дома.

Первая комната крестьянской избы, где совсем недавно, при непосредственном участии Генки разобрали большую русскую печь и заменили ее более современной двухконфорочной плитой, эта комната была заставлена вдоль стен разнообразной спальней мебелью: топчаном, раскладным диваном и железной кроватью. Повсюду были пестро разбросаны предметы одежды: ситцевые сарафаны, юбки с оборками, кофточки, платки, покрывала, носки, колготки. Посреди комнаты стоял большой крепкий стол, накрытый цветной клеенкой и усыпанный крошками, кусками хлеба и пирожков. Крашенный коричневой масляной краской пол был также усыпан разными вещами: бумажками, тапками, игрушками, фантиками от конфет. Тоненькая девчушка лет восьми в пестром сарафане согнулась над веником, пытаясь подмести пол. Именно ей принадлежал тоненький голосок.

– Слышь, Алена, – сказал Генка как можно более вкрадчивым голосом. – Мамка-папка то дома, аль где?

Девочка насупилась, помолчала так немного и, наконец, глядя в пол и не отрываясь от своего дела, сказала

– Папа на сенокосе, а мама лежит, устала.

Генка скинул резиновые сапоги и в рваных своих носках, не дыша, прошел в следующую комнату, смежную с

передней, предназначенную некогда на роль спальни или светлицы, потому что освещалась она сразу всеми тремя окошками фасада. Когда-то у старух, что продали впоследствии свой дом питерским Вяхиревым, была здесь длинная печь-лежанка. Теперь, когда лежанка была Генкой разобрана, эта комната обогревалась из первой, как водится по-современному, через заднюю стенку плиты. Здесь было почище, посветлее, много салфеточек, тумбочек, полочек. У печной стенки стояла громоздкая железная двуспальная кровать с никелированными спинками. Эта кровать, немодная, была уже предназначена сыном Генки, Андрюхой, на помойку. Да Генка выпросил ее у сына и сам дотащил сюда, когда Гришаня покупал дом и обустраивался.

Сейчас на кровати, под легким покрывалом, полулежала в пышных подушках женщина средних лет и крупных форм. Лицо женщины было бледно, смугло и отечно. Выражение его было противоречивым сочетанием простоты, почти глупости, и одновременно большой воли и хладнокровия. Веки под глазами набрякли, образуя "мешки", темно-русые жидкие волосы были убраны в кичку на затылке. В руках женщина держала небольшую книгу в мягкой глянцевой пестрой обложке, какие в изобилии выпускаются сериями "любовный роман" или "русский детектив" и продаются нынче даже в продуктовых лавках.

Генка вошел в комнату, и опять необъяснимая робость овладела им.

ОН НЕРЕШИТЕЛЬНО потоптался на пороге и наконец сказал

— День добрый, кого не видел. Гришаня-то штоль ушел уже?

Ответ последовал не сразу. С полминуты женщина продолжала смотреть в книгу, потом медленно, растягивая томно слова и не отрывая глаз от книги сказала

– Слышал же, что ушел, – она осмотрела Генку с ног до головы и брезгливо потянула носом воздух.

– Понятно, – сказал Генка, – нет, значит, его дома. – Он еще помолчал, переминаясь с ноги на ногу. Его голубые глаза слезились, а распухший темный нос непрерывно шмыгал.

– Я тут, слышь, Наталья, я ребятам тут гостинцев принес, – и он стал торопливо выкладывать огурцы из карманов на соседний с кроватью стул.

– Сам, что ли вырастил? – насмешливо, но уже помягче сказала Наталья. Вопрос был задан с подразумеванием, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя ожидать от Генки, чтобы он вырастил что-то сам. И несоответствие это было довольно забавно. Как всегда это бывает в юморе.

Вытянув шею, Наталья внимательно осмотрела горку огурцов, затем крикнула дочери. – Лена, забери огурцы, отнеси на кухню.

– Сам, – крикнул со смешком Генка, стараясь попасть в тон Наталье. –

– Может, угостишь, дашь поправиться-то?

– С утра пораньше... – поморщилась Наталья и продолжила: опять томно, растягивая слова. – Ты же знаешь, эти вопросы решает Григорий, я не могу без него. – Она ощупывала Генку своими серыми непроницаемыми глазами, как бы прикидывая что-то в уме.

– Ты набойки можешь девчонкам поставить на туфли? Поотваливались разом у всех, – сказала она.

– Могу, чего ж, – ответил неуверенно Генка, – только сперва стопочку того, подлечиться...

– Да ладно, – резко оборвала его женщина, – и так ясно. Иди на кухню. Налью. Не дадут отдохнуть.

– Мама, – сказала Аленка, войдя в комнату и начав прибирать огурцы в эмалированный тазик, – а чего это Светка говорит, что у нее путь Марии, а у меня путь Марфы, и она теперь поэтому пошла молиться в летнюю комнату, а я теперь должна убирать все одна, а Наташка вообще сбе-

жала к Агеевым во двор. Представляешь, в новом платье! А сейчас я пошла в летнюю комнату, а Светки тоже там нет. Называется, она молится. Мама, ну почему только у меня путь Марфы?

– Опять ябедничаешь, – вздохнула мать, – всякий труд почетен, – с некоторой долей торжественности добавила она. – Трудись во славу Божию и терпи, так спасешься. – Последние слова были произнесены уже с каким-то особым вдохновением. Наталья выпрямилась, устремив горящий взор куда-то вдаль, и в своем длинном халате стала похожа на статую, то ли пророчицы, то ли императрицы. Так постояла она с полминуты и затем буднично и устало добавила. – Не мешай мне.

Тяжело ступая, она вынесла свое грузное и рыхлое тело на кухню. Генка засеменил следом.

– Вот простота-то, Аленка, – сказала женщина ни к кому не обращаясь, вынула из холодильника початую бытылку водки и налила из нее осторожно полстакана.

Генка, запрокинув голову, вылил содержимое стакана к себе в глотку, потом крякнул и вытер губы ладонью. – Мало, – вздохнул он.

– Будет тебе еще, когда дело сделаешь. А то наклюкаешься и потом иши-свиши.

– Да когда я?.. – начал было возмущенно Генка.

– Все, – отрезала Наталья, потом она нагнулась и достала из-под кухонного стола три пары детских туфель и одну пару дамских.

Генка поплелся через заднюю калитку к себе в огород, нагруженный полиэтиленовым мешком с обувью.

ГЕНКА и Гришаня были троюродными братьями. Их деды были родными братьями, отцы – двоюродными, и даже фамилию Гришаня и Генка продолжали носить одну. Были они как в сказке – одного роду-племени. Выросли на окраине села, на выселках, именуемых исстари Вихляевши-

ной. Вместе ходили в деревенскую школу, преодолевая в стужу и слякоть пять километров лесом и по шоссе, сначала под гору, потом – в гору. Дома их родителей стояли тогда тоже рядом. Гришаня был младше на семь лет, и Генка часто занимался с младшим по математике. Эта наука совсем не давалась Гришане. Был он медлительный, старательный, но не очень быстро соображал. Выдвинулся по комсомольской части. Даже ездил на областную конференцию.

Генка уже был женат, когда Гришаня уехал в Питер. Там он, по слухам, поступил в институт. А потом, гораздо позднее, женился вторым браком на женщине превосходящей себя достоинствами.

Наталья Максимовна Вяхирева, в девичестве Ситникова, и в те поры была уже дамой важной, умеющей заставить окружающих уважать себя. Она происходила из семьи, получившейся в результате браков, сочетавших потомков русского дворянства и духовенства с рабочекрестьянским революционным элементом. Наталья Максимовна, которая родилась незадолго до политической оттепели, уже не боялась рассказывать свою дворянскую родословную, в которой по семейному преданию, был даже один сенатор. Она не только не боялась, но и любила рассказывать о своих дворянских корнях и называть себя "осколком". Сказать по правде, глядя иной раз как она сама, ее четыре отпрыска, ее тетушка и матушка уписывают за обе щеки ежедневно подаваемые в доме жирные котлеты и румяные пирожки с разнообразной начинкой, слыша как раскованно и напористо переругиваются все семь женщин от мала до велика, деля домашние обязанности, можно было подумать, что деликатность и изящество манер, традиционно приписываемые уничтоженному сословию, либо сильно преувеличены общественным мнением, либо стерлись из генетического кода данной семьи под влиянием большого количества неравных браков на фоне революций, репрессий и катаклизмов уходящего века. Тем не менее, в семье сохранилась традиция обязательного высшего

образования, а также занятий рукоделием и музыкой. Салфеточками филейного вязания, а также воротничками и накидочками был завален весь дом, то есть всякое жилище, где бы им ни приходилось жить: от комнаты в коммуналке до просторной квартиры в новостройках, полученной за многодетность. Каждая девочка училась на музыкальном инструменте. Правда, в совокупности флейта, скрипка, виолончель и фортепьяно так и не составили семейный оркестр. Отчасти по ненависти детей к этим занятиям, отчасти по совершенной невостребованности такого оркестра в семье Вяхиревых. Что же касается высшего образования, то стараниями незамужней тетушки Зинаиды, ученого секретаря одного из самых престижных вузов Ленинграда, тетушки, которая считала племянницу очень умной и исключительных способностей, образование было в свое время получено Натальей Максимовной и даже защищена диссертация. Что-то об эстетических закономерностях развития метода социалистического реализма в изобразительном искусстве. Брак с Григорием Матвеевичем Вяхиревым был, конечно, в некотором смысле мезальянсом для Наталии Максимовны. Во всяком случае, на это нередко намекала со вздохом тетушка Зинаида. Но что сделано, то сделано. Назад ходу нет.

Когда партия и правительство разрешили горожанам покупать в деревне дома под дачи, и Гришаня с Натальей быстро подыскали с Генкиной помощью в древне домик на продажу, да еще и по соседству, Генка был несказанно рад. Все-таки важный человек его братан, да и душа родная, хоть и подзабытая маленько. Всколыхнулись воспоминания детства, что-то родное, грустное затеплилось в душе. Глядя как чинно Гришаня и Наталья с четырьмя девочками в шляпках и трогательного покроя платыхах идут по воскресеньям в церковь, Генка был горд за брата. Недаром же дед Михей, известный на селе скептик и рационалист, сказал как-то, глядя на них: "Я в Бога не верю, но верующих — очень уважаю".

ГЕНКА поплелся через переднюю комнату в сени, на дорогу и к себе в огород, неся мешок с порванной детской обувью. Он решил устроиться с работой у себя на крыльце: оттуда виден был Гришанин дом и входная дверь, туда доносились звуки. Если брат явится, будет видно и слышно и можно успеть добежать, как бы и не торопясь вовсе.

Через некоторое время от братниной избы послышался крик

– Да вси блюдшы ён перетаскал к вам, и капусту таскал, и клубнику, где совесь у вас? Что съели, то ладно, блюдшы бы вернули хоть!

Над зелено-розовыми кустами шиповника, напротив двери в дом виднелся цветастый цыганский платок Генкиной тещи, Евдокии Марковны.

– Вот язва, старая сковородка– выругался Генка, с досады бросив об пол молоток.

Что было, то было. Он действительно немало перетаскал к Гришане гостинцев с тешиного огорода, ухоженного и облащенного ею, и часто пользовался для этого тешиной кухонной посудой: чашками и эмалированными мисками, которые по местному обычаю назывались блюдцями. Вот за этими вещами и явилась теперь воинственно Евдокия Марковна, маленькая, сухонькая, но очень язвительная старушка, с утра до вечера везде поспевающая на своих тоненьких кривоватых ножках. Так, что оставалось только удивляться тому, сколько энергии было в этом тшешном теле.

Генка был давно разведен с женой и жил теперь с тешей на разных половинах одного дома о четырех окнах по фасаду. Его жена, Катерина, жила с сыном на центральной усадьбе в Колокольцах. Генка шутил, что теща осталась ему как бы по наследству от жены. Долгими зимними вечерами старуха имела привычку усовешивать его через стенку скрипучим проникающим голосом, на что он коротко отругивался репликами вроде "молчи, старая сковородка". Однако на огороде не отказывался помочь,

без разговоров колол дрова и носил ведрами воду из колодца.

– И у новых городских, что на горке-то живут, сей день кто-то огурцы все с парника повытаскал. Я чай, опять этот идиёт, – продолжала теща.

Из дома ей что-то отвечали, но было не разобрать, что именно. Потом Марковна скрылась в дверном проеме.

ЦЕЛАЯ жизнь уткла с той поры как много лет назад Генка Вяхирев был призван в ракетные войска. В то время это было очень почетное назначение. Взяли его туда за то, что хорошо учился в школе и разбирался в технике. Когда вернулся он в родные Колоколыцы, держался молодцевато. Голубые глаза еще не слезились и смотрели прямо, открыто на собеседника. Нос не шмыгал поминутно и не походил на сливу. И весь Генка был парень ничего, приглядный. Катю Еремееву, статную, веселую и простую девушку, он повстречал через год на танцах в клубе и сразу положил на нее глаз. Она была не колоколыцевская, приехала на практику в совхоз из соседнего района. Генка всегда знал, что именно такая и нужна ему: скромная, добрая и доверчивая. Так и запала она ему в душу и осталась там навсегда: в платье из нежно-голубого крепдешина, русые косы корзиночкой – в окружении той особенной майской голубой дымки, которой, кажется, окутано бывает все вокруг в то время, когда распускаются первые листочки и пар поднимается от просыхающей на солнце земли.

Жили они хорошо, спокойно. Хозяйствовали в своем доме, который Генка с братом Анатолием выстроили из леса, предоставленного лесхозом, где работал тогда Генка на пилораме слесарем. В первый год родился сынок Андрюшка. Правда, по настоянию жены, а больше по мягкости характера и по дурости выписал Геннадий тещу из соседнего района. Уже тогда старая Марковна начала

понемногу отравлять им жизнь. Но все было бы ничего. Да тут другая беда. Стала сказываться служба на полигоне и самым что ни на есть досадным образом, а именно – мужской слабостью. Атом, на который партия и правительство, а с ними и весь народ возлагали такие надежды в деле защиты рубежей и в мирном строительстве – этот всемогущий атом неожиданно оказался опасным для тех, кто им непосредственно управлял, кто с ним непосредственно соприкасался.

Катерину последствия контактов с атомом не очень волновали. Она превращалась в степенную, медлительную и бесстрастную женщину, с утра до вечера занятую на ферме и по хозяйству. Но кому-то она случайно проговорила, и посыпались от подружек, тетушек и кумушек советы и причитания. Мол, как же так – без этого прожить, мол, молодость свою загубить, мол, и для здоровья нехорошо. Тогда деревня понемногу становилась ученой и культурной. Те, кому удавалось вырваться из деревенского плена в город, возвращались на короткую побывку, напичканные новыми словами – витамины и калории, неврозы и психозы, микробы и инфекция, – все эти словечки из медицинского лексикона перекочевали в общий обиход в одну компанию к полированной хлипкой мебели, радиолам, телевизорам и бесконечным дискуссиям о том, как добиться, чтобы доярки ходили на ферму не в резиновых сапогах или кирзачах, а в модельных туфельках на каблучке "шпилька". Как, мол, в городе ходят на работу. Хмель модных веяний, подкрепленных правительственной пропагандой, был так силен, что мало кто и вспоминал, что исстари была в этих краях хозяйка под одной крышей с коровушкой, и не нужно было ей никуда ходить, бросая детей, выстуживая дом, оставляя без пригляду все остальное хозяйство. И не поправить это теперь никакими "шпильками", тем более, что разговоры эти так и остались разговорами, а деревенская непролазная грязь – грязью.

Но тогда думалось иначе. Все быстро и без труда становились образованными. Наука так много обещала для

тела, что о душе как-то и не вспоминалось. Да какая там душа – ее отменили уже давно! Про душу говорить было неловко в те годы. Засмеют, сживут со света! Опять начали взрывать и сносить храмы (те, что уцелели в прежнее лихолетье), а комсомольские патрули бесцеремонно оставляли молодежь, идущую на пасхальное богослужение.

Тогда Катерина ушла с сыном на центральную усадьбу, а когда через два года одумалась и решила вернуться, было уже поздно – Генка пил и не мог остановиться.

Эх. Катя, Катя, какой бедой обернулась твоя доверчивость! Твоя податливость – жить как все! Новой семьи Катерина не создала. Иногда она навещалась в Вихляевшину к матери. Стала дородной рябой бабой, держала корову в хлеву, выстроенном под окном ее квартиры в блочной трехэтажке (для этой коровы Генка каждое лето накашивал сена) и научилась ругаться матом не хуже мужа.

Несмотря на невыносимую порой язвительность тещи Генка был рад в глубине души, что хотя бы иногда может видеть Катерину, даже понимая, что семьи не будет у него никогда. Перегорело все, и не было сил терпеть и надеяться.

МАРКОВНА вышла из Гришаниного дома, семеня и переваливаясь по-утиному на своих искривленных тонких ножках. Она наклонила голову в цыганском платке и размахивала руками, скрюченными полиартритом и многолетним трудом, что-то бормоча под нос. В одной руке была миска. До Генки донеслось

– О, нахалы! Говорят, и это наше, и то наше. Да пусть останутся у их мои блюда, пусть заберут себе, боком выйдет им чужое.

Сердитое скрипучее бормотанье удалилось на какое-то время, чтобы возобновиться за дошатой перегородкой,

разделявшей крыльцо, а затем потонуть в глубине дома, заглушенным стуком дверей и грохотом чугунов о плиту.

В это время солнце стояло уже высоко, а на пыльной деревенской дороге, на взгорке, едва различимая вдаль, показалась фигура одинокого мужчины с косой на плече. Мужчина шел неторопливо, чуть вразвалочку, походкой человека не только никуда не спешащего, но и чувствующего явно глубокое удовлетворение от физической усталости. Это был Григорий Матвеевич Вяхирев. Именно его с такой надеждой дожидался троюродный брат и пропащий человек Геннадий Вяхирев.

Григорий Матвеевич был высокий широкоплечий, начинающий полнеть мужчина, имел черную с проседью копну прямых волос и такой же окраски окладистую бороду. Он ежедневно ходил на покос к своей двоюродной тетке Антонине, которая платила ежедневно трехлитровой порцией парного молока, а также неиссякаемым потоком угощений вроде молоденькой морковочки или зеленого сочного лучку, ну и рюмочкой-другой самогону, конечно. Впрочем, тетке Антонине было так лестно, что такой важный и образованный городской мужик, не чинясь, ходит к ней в работники, что она, кажется, готова была бы отдать и сено и самое корову, лишь бы такой порядок закрепился и потешил бы вволю ее самолюбие., сильно помятое в те годы, когда слово человек звучало особенно гордо.

Сейчас Григорий Матвеевич возвращался именно с покоса, а это значило, что он уже пропустил рюмочку. Он шел, небрежно перекинув косу через плечо вальсяжной походкой, одетый в светлую поношенную рубаху навывпуск в сатиновые черные выцветшие штаны с пузырями на коленях, и выглядел совсем по-крестьянски. Этот крестьянский вид доставлял ему немалое удовольствие, что также нашло отражение у него на лице. Давно уже горожанин, Григорий Матвеевич остался горячим поклонником всего русского, посконного. Свои впечатления и ощущения от деревни он старательно записывал, надеясь в будущем придать им литературную форму и, конечно, не оставить

под спудом, а непременно издать. Григорий Матвеевич чувствовал тягу к писательству. Иногда он часами просиживал в бане на опушке, марал бумагу, комкал и бросал. Подходить близко к бане в такие часы строго-настрого запрещалось. Все домашние мимо бани ходили на цыпочках.

– Дядя Гена, на грузило есть у вас какая-нибудь тяжелая штука, только с дыркой? – Под крыльцом стоял светловолосый коротко остриженный мальчуган лет десяти.

– Здорово, Мишуха, – сказал Геннадий, переводя взгляд с соседнего дома и дороги за ним, а слух – с тешиной половины, на мальчика, стоящего внизу. – Рыбачить собрался? С папанами аль с папкой?

– Да нет, папка отсыпается после суток, с Лешкой Дмитриевым и с Пашкой Мухиным

– Солидная компания, – сказал Геннадий, – пойдем, поглядим у меня в железках, может, сыщем что, – он жестом пригласил мальчика войти.

Так уж повелось, что Генкино жилище было кладезем всевозможных железок, шурупов, гаек и запчастей к велосипедам всех марок. Поэтому, окрестные мальчишки не переводились у него в гостях. В те дни, конечно, когда он мог стоять на ногах и членораздельно разговаривать. Однако, сегодня неожиданный приход Мишухи сослужил ему плохую службу, и Генка в душе подосадовал на мальчика. Когда через полчаса Геннадий вернулся на пункт наблюдения, проводив довольного Мишуху с крыльца, он понял, что упустил шанс ловко присоединиться к Григорию Матвеевичу и вместе с ним войти в дом. Брат уже свернул с улицы, обошел участок со стороны леса и входил в калитку. Генка вздохнул и принялся ремонтировать последнюю пару детских сандалий, понимая, что теперь единственным поводом ему, чтобы проникнуть в Гришанин дом, будет завершенная халтура.

ГЕНКЕ было жаль, что он упустил случай поговорить с братом наедине и теперь вряд ли можно будет незаметно и легко проскочить в баню на полянке за домом и посидеть там хорошо, прикончив початую бутылку водки с хлебом, солью и молодым зеленым лучком, а может и с колбасой. Впрочем, о еде не думалось, пока не отпускала мучительная извращенная жажда. Но хотелось еще поговорить за жизнь, как там в городе и о политике, про новые порядки в стране, вспомнить юность, детство. Казалось, Гришаня должен обязательно сказать что-то важное.

Генка собрал починенные босоножки обратно в полиэтиленовый мешок и стал спускаться с крыльца. В это время калитка на участке брата опять заскрипела и хлопнула. К дому прошла неслышной походкой девушка лет шестнадцати со светлыми прямыми волосами, собранными на затылке в пучок, и в ситцевом сарафанчике на тонких бретельках. Это была Оля Лукина, сирота при живых родителях. Они пили горькую уже много лет, и Оля раньше часто проводила вечера у старух в бане, куда старухи пускали ее посидеть и схорониться от буйства отца, еще в те времена, когда Лукины жили в Вихляевшине, а дом Вяхиревых принадлежал старухам-сестрам. Потом Лукины погорели и переехали в барак на центральной усадьбе. Оля, придя однажды навестить старух, нашла в их доме семейство Вяхиревых, была обласкана Натальей и теперь часто бывала у них в гостях. Жизнь у девочки была нелегкой. Еще старший брат Оли годовалым замерз, когда по недосмотру выполз в сени лютым январским днем, рожденная за ним сестра утонула, купаясь в реке. Олю тяжкие беды чудом миновали, но родители не только никогда не отмечали ее день рождения, но, вполне вероятно, не помнили его вовсе. Несмотря на такую заброшенность, девочка училась на четверки и пятерки, была победительницей районной олимпиады по русскому языку и неплохо рисовала. К сожалению, художественной школы в Колокольцах не было, и негде ей было развить свои способности.

Непритязательная, скромная, сноровистая в домашнем привычном труде, Оля вскоре стала неотъемлемой частью дачного интерьера питерских Вяхиревых. С ее приходом в доме быстро восстанавливался порядок, Наталья не устала ее нахваливать, повторять, как она всегда рада Оле и назидательно рассказывала девочкам историю нелегкой Олиной жизни, всегда подчеркивая, что, если старухи не пускали Олю дальше бани, то она, Наталья, наоборот, сделала ее почти членом семьи.

При виде Оли Лукиной лицо Генки, весь день несшее на себе кистую мину, скривилось еще больше. Генке было жаль девочку, но почему-то не одобрял он, что она ходила к Вяхиревым и бывала там подолгу. Впрочем, он уже давно в своей жизни руководствовался денно и нощно одним только единственным желанием, и воля его была подавлена даже по отношению к своим личным делам. До чужой ли жизни было!

Он пошел к дому брата, понимая, что Оля уж никак не сможет помешать осуществлению его заветного желания. Но его опередили.

ГЛУХО стукнула дальняя калитка на участке питерских Вяхиревых, та калитка, что была вроде парадного входа со стороны главной проезжей улицы Вихляевщины. Тропинка от этой калитки к дому густо заросла дудкой, крапивой и лютиком. Сейчас, колыша белую цветочную пену дудки, вымахнувшей в рост человека, по тропинке кто-то пробирался. Новым гостем оказалась женщина. Невысокая. крепко сбитая, с прямыми соломенными легкими волосами, небрежно перехваченными блеклой голубой косынкой. Одета она была в растянутую до бесформенности мужскую футболку с почти оторванным правым рукавом и поношенные тренировочные штаны, обута в резиновые галоши на босу ногу. В руке у гостыи было небольшое жестяное ведро, из которого выглядывали листья земляники и усы с маленькими кустиками на концах.

Наталья встречала новую гостью на пороге своего дома, в радостной улыбке обнажив десны.

– Здравствуйте, – протянула она приветливо и кротко, – что-то давно вас не было у нас.

– Я, кажется, не оттуда зашла, – сказала женщина почти одновременно с ней, медленно, грудным голосом. – Поздно это поняла. Теперь вся в волдырях, подлечилась крапивкой.

– Маргарита Васильевна, мы тоже вечно обожжемся, если сунемся с той стороны. Ходите-ка лучше от леса. И с вашего участка ближе.

– Я, собственно, на минуту, – сказала Маргарита Васильевна, – вот, принесла вашим девочкам усы.

– Спасибо огромное... Усы? Девочкам?

– Да, земляничные. Позовите Свету. Она обещала мне приготовить грядку для земляники.

– Да оставьте эти усы, лучше пойдемте чай пить.

– Мне бы хотелось это дело закончить побыстрее. И потом, усы завянут, если их надолго оставить.

– Светы нет сейчас, убежала куда-то. Да и грядки пока тоже нет. И что вам вздумалось учить нашу Свету сажать землянику. По-моему, это бесполезно. Вот приедет Лиза, наша старшая, она сейчас в Германии, по обмену, вот она, может быть что-нибудь поймет. А со Светой сладу нет никакого. Никто не авторитет. – В голосе у Натальи послышались нотки просьбы об извинении. – Но зато она у нас самая умная из детей, почти одни пятерки в школе, хоть учителя в последнее время на нее стали часто жаловаться... Бросьте все здесь, пойдемте чай пить.

И так получилось, что Наталья, хоть и поругала дочь, но все же больше похвалила ее.

– Пожалуй, зайду к вам, подожду немного, – после некоторого колебания сказала Маргарита Васильевна и зашла в дом.

Маргаритой Васильевной звали жену адвоката Быстрова, который получил дом в Вихляевшине по наследству от бездетной тетки несколько лет назад. Быстровым так при-

глянулся большой бревенчатый пятистенник, окруженный со всех сторон одичавшим садом, что они поколебались, а потом и вовсе раздумали продавать наследство. Им полюбились эти негусто заселенные места, богатые охотой и рыбной ловлей, чистый лес, какого не сыскать уже вблизи мегаполиса. Люди они были хоть и деловые, но простые и независимые в быту. Они всегда жили в достатке (с тех пор как покинули студенческое общежитие на Петроградской) – профессия адвоката давала неплохой заработок и в советское время. Поэтому Быстровы не присоединились с началом новых порядков к мощному движению людей, не укорененных в жизни, ищущих чего-то вне себя и алчных до быстрой наживы. К тому движению, которое началось с одновременным обнищанием всех менее расторопных и жадных. Не присоединились, так как не было нужды. Также они всегда были знакомы с иностранными языками и поэтому тип людей, для которых и родной то язык был, кажется, в новинку и которым потому оставалось вожделенно повторять безумные транслитерации вроде слов промоушен, истэблишмент или мерчандайзер, то ли затрудняясь переводом, то ли опасаясь, что эти слова потеряют при переводе часть своей заклинательной силы., – этот тип людей тоже мало интересовал Быстровых. Иными словами, они не тянулись за бомондом и не позволяли сталдному истэблишменту отравлять им жизнь. Как следствие этих принципов, Быстровы отмахнулись от советов возвести на участке заново помпезное кирпичное строение с бассейном, и оставили все, как есть, обновив и укрепив унаследованное, без нарушения традиций и стиля.

Маргарита Васильевна была завучем в гимназии и преподавала французский язык. Здесь в Колокольцах она любила проводить свои долгие отпуска, копаясь в грядках и клумбах.

Генка усмехнулся, прослушав разговор двух женщин. При нем как-то раз, не стесняясь, Наталья высказала свои взгляды на Маргариту как на средство для устройства младших дочерей в престижную школу. Наталья умела пользо-

ваться людьми, с каждого из окружающих содрать как с паршивой овцы хоть шерсти клок. Маргарита же была совсем не паршивая овца. Скорее тонкорунный меринос. Генка опять усмехнулся.

Сейчас Наталья не знала, что намерение Маргариты обучить вторую дочь Вяхиревых основам садоводства было вызвано, прежде всего, желанием сберечь собственный огород от постоянных набегов Светки и компании. Как педагог и интеллигентная женщина Быстрова полагала такой ход тактичным решением вопроса. Но, хоть Наталья не ведала еще, какую каверзу приготовила ей в очередной раз любимая дочь, Генка был уверен, что мудрая мать вывернется и из этой неловкости. Вывернется без всякого смущения и напористо, ловко добьется своего.

Способности питерских Вяхиревых к использованию людей, их умение всякого поставить к себе на службу хоть в малом, хоть по крупному, вызвали почти такое же восхищение окружающих, как и благочестивый внешний вид, когда они шествовали в церковь. И то и другое воспринималось людьми как различные проявления одного общего качества – умения прочно стоять на земле.

Что-то подсказывало Генке, что умение жить, используя других людей, не только не входит в число категорий добра, выведенных в классической русской литературе, той, что изучалась им когда-то в школе и давно забытой, не только противоречит моральному кодексу строителя коммунизма, упраздненному ныне, но и нарушает какой-то другой закон, который существует незыблемо, писанный или неписанный, который никто не отменял и не в силах отменить никогда. Но слов для этого таинственного закона не находилось, и Генка в душе метался между инстинктивным протестом против такого порядка вещей и чувством уважения к Наталье с ее умением жить. Он то злился на нее, то робел.

Ну, что, собственно, плохого произойдет, если Маргарита сейчас, напившись чаю, наслушавшись комплиментов, явных и скрытых, в свой адрес, умиротворенная, размяг-

ченная уйдет восвояси, оставив Наталье свой питерский телефон для дальнейшего обсуждения дела, что Светка не вздумает сажать эту самую землянику, а ее посадит сама же Маргарита сейчас или Оля Лукина после ее ухода, или кто-нибудь из соседок? Что плохого, если все будут довольны и счастливы?

Генка спрашивал себя, не потому ли он злится, что сам не умеет так жить, и уже полдня у него горит нутро, а обещанная поллитра, никому не нужная кроме него, занимает место в переполненном холодильнике Вяхиревых.

ОН РЕШИТЕЛЬНО встряхнул полиэтиленовый пакет со шлепанцами, пригладил редкие сизые волосы пятачком и твердо направился к братнину дому. Но перед входом неожиданно опять оробел и решил немного послушать, о чем говорят в комнате. Он остановился под открытым окном.

– Я смотрю, вы любите возиться с землей, огород у вас, просто загляденье – так и пышет, – это был голос Натальи.

– Люблю, я так отдыхаю, – поддакнул голос Маргариты.

– Оленька, завари чай, пожалуйста, и унеси грязную посуду. – Это опять Наталья. – А я так совсем равнодушна к земле. Наверное, сказываются гены. Никто из моих предков, кажется, на земле не работал. Отдыхаю с книгой в руках. Вот Оленька придет, поможет мне, чудная девочка, я хоть могу тогда отдохнуть.

Далее послышался стук посуды, звук отодвигаемых стульев, чей-то кашель. Наталья продолжала.

– Вот Гриша любит косить, у него крестьянские корни. Впрочем, мы узнали, что в этих краях было много так называемых дворян-однодворцев. Они вели крестьянское хозяйство самостоятельно. И какие-то Вяхиревы упоминаются среди них. Правда, Гриша?

– Гм, откашлялся Григорий, – у меня есть доступ к архивам, кое-что удалось собрать...

– Что вы говорите? Как интересно! – Это Маргарита. – А у меня корни очень пестрые. Есть и крестьяне, и мастеровые, и земские врачи, и даже купцы второй гильдии, волжане. Потомственных дворян, по-моему, не было. – Короткий смешок.

– А вы поищите, у вас тонкий профиль, посмотрите, неужели только купцы и мастеровые? У меня по маме все дворяне – был даже один сенатор – и духовенство. И кровь не совсем русская, были греки и немцы.

Спелое солнце уже стало понемногу скатываться вниз по небосклону, но дневной жар пока не утихал, высоко в глубокой голубизне сновали быстрые ласточки, жужжали шмели и пчелы, смолкая на время, чтобы жадно припасть к нежному венчику шиповника или забраться в узкий колокольчик наперстянки, раскачав длинный стебель. Муравьиные караваны то и дело пересекали песчаную дорожку к порогу. Неутомимо переговаривались кузнечики. Хорошо было людям, укрытым желанной прохладой старого бревенчатого дома.

НЕСМОТРЯ на всю свою решительность и на весь свой хладнокровный натиск Наталья Максимовна принадлежала к числу людей, способных испытывать страх. И не тот страх, который заставляет нас порой тянуть с визитом к зубному врачу. Хотя и этого, вполне досадного, страха Наталья Максимовна не была лишена, частенько таила обиду на мужа, когда тот отказывается сопровождать ее к дантисту. Но самым главным страхом ее жизни, двигателем поступков и побуждений, был знакомый многим русским людям ужас перед возможностью остаться маленьким человеком, эдакой песчинкой истории, ветром несомой, эдакой букашкой, каких миллионами давит чей-то равнодушный сапог.

На протяжении веков в России маленьким человеком пользовались как расходным материалом в деле укрепле-

ния незыблемых стен империи, а также для устройства жизни немногих избранных. Жизнь маленького человека становилась то невыносимо страшной, то чуть более терпимой, но всегда ничего не стоила. Не потому ли так сложилось, что всякий у нас стремится выделиться из толпы любой ценой: умом ли, преступлением ли, подлостью ли, знакомством ли со знаменитостью или иным чем, неважно, лишь бы не чувствовать себя в стаде, приготовленном на съедение и забвение?

Двоюродная тетка Натальи Максимовны по матери, Зинаида Леоновна Закржевская, пяти лет от роду лишилась родителей. Их забрали ночью, оставив ребенка одного дожидаться рассвета в пустой квартире, где все было выворочено и превращено в хаос. К счастью среди родственников были не только "бывшие", но и революционный рабоче-крестьянский элемент. Нашлись люди, которые забрали девочку, не допустив ее до специального детского дома для детей врагов народа. Это была семья деда Натальи Максимовны, красного руководящего инженера, из латышских стрелков. В этой семье и была воспитана Зинаида Леоновна. Она не вышла замуж, сделав научно-административную карьеру, возможность которой самым непосредственным образом была связана с невозможностью выйти замуж: роман с влиятельным и женатым обкомовским работником не мог закончиться браком, и карьера была предоставлена Зинаиде Леоновне в качестве компенсации. Зинаида Леоновна никогда более не увидела своих родителей. Она так и осталась в семье своей двоюродной сестры, а после трагической гибели мужа сестры, на комсомольской стройке в тайге, помогала воспитывать дочь. Именно она подала Наталье Максимовне первый пример здорового бытового прагматизма и внушила непреложное правило – всегда оставаться "на плаву". Она была безразлична к вопросам веры, и считала, что человек должен брать, не рассуждая, от жизни все, что она на текущий момент может ему предложить. Тетка сделала все возможное, чтобы метод социалистического

реализма стал удобным поводом для исключения ее любимой племянницы из числа заурядных людей. Наталья Максимовна защитила диссертацию. Нашлись, правда, злые языки что-то там вешавшие и несамостоятельности, компилятивности и даже не должным образом оформленных заимствованиях. Ну, так с этих высказываний не воду пить. Поговорили и забыли. Наталья Максимовна получила свидетельство об интеллектуальном превосходстве и пропуск к дальнейшей карьере, а это только и нужно было. Кстати сказать, на почве социалистического реализма и познакомилась она с Григорием Матвеевичем, своим будущим мужем, который в это время подвизался в соцреализме на русском отделении филфака. В перезрелом возрасте и, не блистая внешностью, она увела его из первой бездетной семьи, покорив сразу тремя мощными орудиями: дворянством, соцреализмом и беременностью. А вслед за тем решительно родила ему четырех дочерей. Все это, по мнению многих, обличало в ней женщину незаурядную. Так оно и было. Правда, к моменту их бракосочетания соцреализм зашатался и стал утрачивать свою, казалось, вечную актуальность. Наступали иные времена. Наталья Максимовна очень тонко и вовремя почувствовала это. Она вспомнила про свою дальнюю родственницу, внучку репрессированного протоиерея, погибшего в лагерях, дочь известного в советские годы священника, тоже побывавшего в тюрьме, а ныне жену диакона одного из храмов северной столицы. Наталья Максимовна поехала к матушке Евгении, так звали ее родственницу, Наталья Максимовна повинулась перед матушкой, рассказала ей о своей тайной вере и сомнениях, тяготивших ее еще с пионерского детства, и попросила устроить венчание. Тогда еще, несмотря на легко завеявший ветер перемен, нельзя было венчаться открыто. Таинство совершалось на дому. Впоследствии Наталья Максимовна любила вспоминать, как венчались они на дому и без венцов. Это тайное от властей венчание, хоть и не ставило ее в один ряд с исповедниками веры в годы гонений, но уж, во всяком случае,

проводило границу между нею и толпами неофитов, которые хлынули в церковь по падении режима.

Оказалось, правда, что еще надо поститься. Наталья Максимовна поспрашивала у восьми разных священников, можно ли матери подьедать в пост за своими детьми недоенные ими мясные котлетки. Шесть батюшек сказали, что можно, двое сказали нельзя. Получалась неясность, расхождение. То же с долгими молитвословиями, с убогим внешним видом. Надо ли обязательно так заматывать платком и носить все такое длинное, мешковатое? Неясно. Но вскоре ее изобретательный ум с присущей ему плодовитостью нашел нужное слово. Фанатизм. Вот как называлось все, что требовало усилий и трудов без всякого видимого смысла. Прошло еще немного времени, и ее сомнения вовсе развеялись.хлопотами матушки Евгении Вяхиревы стали ходить за советом к известному в городе духовнику. Толпы людей с утра до вечера осаждали небольшой храм на окраине города. Священник был популярен, но попасть к нему было непросто. В последнее время чести запросто разговаривать с ним удаивались только известные люди: политики, бизнесмены, актеры. И Вяхиревы, попав в это число, почувствовали себя на своем месте.

Теперь Наталья Максимовна любила обращать неверующих в православную веру, и разговор, за которым мы покинули наших героев для небольшого отступления, этот разговор должен был неминуемо перескочить с дворянского конька на вероучительный.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Генка, которому надоело стоять под окном, решил перейти к сути дела. Но, когда он уже поднялся по скрипучей лесенке от входной двери в сени, когда уже оставался один шаг до обитой дерматином двери в избу, на Генку со спины словно налетел вихрь. Короткий топот сзади, потом его толкнули, открыли перед ним

дверь нараспашку, вперед проскочило крепкое молодое тело, пахнувшее потом и косметикой, полуодетое в бикини и развитое не по пятнадцати годам. Это была средняя дочь питерских Вяхиревых.

– Генка идет! Ура-а-а! Привет всем! Здравствуйте, Маргарита Васильевна! – прокричала Светка каким-то бесшабашным речитативом, в котором, однако, угадывалась то ли ирония, то ли издевка, впрочем, глубоко скрытая.

– Светлана, – окаменев лицом, сказала Наталья. – Во-первых, не Генка, а для тебя Геннадий Николаевич, во-вторых, что за вид, ты куда пришла? Мне стыдно, – она обернулась к гостье – Маргарита Васильевна, простите, пожалуйста.

– Ничего, Наталья Максимовна, мы же на даче. А вот такие фамильярности с пожилым человеком, Света, конечно же, не уместны. Здравствуйте, Геннадий.

Смущенный так неожиданно свалившимся на него непривычным и неслыханным почтением, Генка переминался с ноги на ногу. Наконец, он выговорил с хрипловатым оканьем

– Здорово, кого не видел. – И протянул Наталье мешок с обувью. – Заказ выполнен, гражданин начальник.

– О-о, – обрадовано протянула Наталья, заглянув в мешок. – Спасибо, Геннадий, что бы мы делали без тебя. Гриша, – кивнула она мужу многозначительно, – Гена по твою душу пришел.

– Как же, как же, – широким жестом Григорий Матвеевич протянул руку через стол и с приветливой улыбкой пожал ее Геннадию. – Давно не видались.

– Дело есть, Гришаня, не выйдешь поговорить?

– Дело есть, дело е-есть! – пропела по оперному Светка, впархивая в комнату из светлицы, одетая теперь в невероятно короткую юбку и узкую красную кофточку, приоткрывающую живот. Ее короткие, два дня назад выкрашенные, волосы были огненно рыжего цвета с малиновым отливом и торчали в разные стороны наподобие

грачиного гнезда. Она встала перед чайным столом и, картинно прижав к груди обе руки, проникновенно и старательно как бы закончила арию. – Вы-ы-пить, а пото-ом за-куси-и-ть...

– Прекрати этот балаган! – гневно вскрикнула Наталья.

– Куда собралась опять? Разрешение спросила у отца и матери? – подал строгий голос Григорий Матвеевич.

Светка моментально состроила печальную рожицу на своем курносом раскрашенном личике и, склонив голову на бок, сцепив опущенные вдоль тела руки и покачивая плечами, уныло протянула

– Ну почему, почему вы меня так не любите?

В этот момент дверь из сеней в избу отворилась и впустила новую гостью. То была племянница Геннадия, дочь его рано погибшего брата, Настя.

НАСТЕ было тридцать с лишним лет. От матери Геннадия, своей бабки, она унаследовала громадные посовиному, но голубые глаза и стройность фигуры. Одета она была на городской лад в светлый брючный костюм, прямые русые волосы подстрижены.

Настя приехала в Колоколыцы в отпуск навестить бабушку. Дом матери Геннадия и Анатолия Вяхиревых, бабки Калерии Фроловны стоял на другом конце Вихляевшины. Анатолия уже тридцать с лишком лет не было в живых: осенним ненастьем его лесовоз, в кабине которого были еще и жена с ребенком, перевернулся на мокром шоссе. В живых осталась только крошечная Настя, которую взяла к себе и воспитала бабушка. Настя была отличницей, местную колокольцевскую школу закончила с золотой медалью, поступила в Ленинграде в педиатрический институт, училась на детского врача.

Но почему-то жизнь Насти в северной столице не заладилась. Сразу же после рождения дочери Лерочки она развелась с мужем и теперь прозябала вдвоем с ребенком в ма-

ленькой комнатке коммунальной квартиры на нишенскую зарплату участкового врача. Не раз подумывала она вернуться в Колоколыцы в дом к горячо любимой бабушке. Но единственное в родной деревне место участкового педиатра было прочно занято женщиной далеко не предпенсионного возраста, да и в районной больнице свободной врачебной ставки на ближайшее будущее не предвиделось. Опять же Геннадия иногда с досадой думалось, что умей он или бабка или сама Настя поговорить с кем надо и как надо, возможно и удалось бы устроить дело. Но, видно, пошли они все в поролу варешек, у которых все идет мимо рук.

Он вспомнил свою мать. Всю жизнь проходила она в кирпичных мужских сапогах, хоть и была бригадиром полевых работ во время войны и после нее несколько лет, то есть не последним была человеком, могла бы выглядеть и поприличнее. Так нет, в этих громадных сапогах и сегодня выходила она еще иногда к автолавке купить папирос, курить которые приучилась во время войны и, овдовев, не бросила после войны эту привычку. Чем-то Настя еще кроме внешности очень напоминала ему мать.

СЕЙЧАС по нервному подрагиванию ноздрей племянницы Геннадий догадался, что прибыла она не с миром, хотя голос звучал вполне приветливо, когда здоровалась со всеми.

– Присаживайтесь, Настя, сейчас Олечка еще согреет чаю, – сказала ей Наталья.

– Спасибо, я на минуту и по делу. Григорий, откуда у вас в доме эта икона?

Взгляды всех присутствующих в избе устремились на божницу в углу, где между дешевыми картонными образочками висела большая старинная доска, писанная яркими, не потускневшими от времени красками.

– Гм, – откашлялся Григорий Матвеевич, и тихим пронырливым голосом начал говорить, – это образ Тих-

винской Божией Матери, – он перекрестился – истово, неспешно, и все вокруг тоже торопливо начали креститься, кто как. – Образ почитается как особо покровительствующий Северу земли русской. Данная икона большой художественной ценности не представляет, писана, видимо, местным богомазом в конце восемнадцатого века, но все-таки это русская старина...

– Я не спрашиваю, что это за образ, но откуда он у вас? – перебила Настя.

– Настя, ну почему таким прокурорским тоном, обидно даже, – вставила Наталья.

– Потому, что это наша семейная икона из дома моей бабушки, и принес ее вам Геннадий. Ладно – горшки, ладно – прялка, и самовар мы тоже переживем, но икону верните.

– Я взял ее, чтобы отдать на реставрацию, – немного уже смущенным тоном сказал Григорий Матвеевич.

– Почему вообще вы берете вещи у Геннадия? Вы же знаете, что у него давно уже нет ничего своего, – подчеркнул голосом последние два слова, сказала Настя.

В эту минуту дверь в избу распахнулась, и на пороге предстали Алена и маленькая Наташа с вытаращенными глазами, в один голос тараторя: "Генка украл, Генка водку из холодильника украл, открыл холодильник и взял".

Когда удалось, наконец, остановить этот поток восклицаний и слово было дано Алене как старшей и более рассудительной, девочка сказала

– Генка вышел сейчас за дверь, а Наташка поднималась в кухню. Он открыл холодильник и видит, она идет. Ну, он и говорит ей: никому не говори. Взял водку оттуда и пошел. Тут и я иду из летней комнаты.

Светка, выслушав это объяснение, повалилась с размаху на диван, подняв голые ноги кверху и начала болтать ими в воздухе и вопить

– Ой, не могу! Ой, держите меня! Вот это приколы! В натуре, я тащусь от этой фишки!

Наталья молча обернулась в сени и обратно, пришла с лицом серьезным и растерянным.

– Водки нет, – сказала она.

– Чего и следовало ожидать, – добавила Настя. – Будьте спокойны, я оплачу эту бутылку.

– Вы нам ничего не должны, – сказала Наталья.

– А сейчас, пожалуйста, заверните мне икону во что-нибудь, а то неудобно так нести образ по улице, – продолжала Настя.

Когда Настя вышла, все молчали какое-то время.

– Да, совсем опустился Геннадий, – проговорила, наконец, Маргарита, – до чего дошел: среди бела дня, в доме своего брата, при детях.

– А Настя то какова, а? – вдруг вспыхнула Наталья. – Гонору-то, гонору сколько, и откуда что берется?

– Да, смирению этой женщине еще надо бы поучиться, – степенно поддакнул жене Григорий Матвеевич. – Что значит, когда человек не ходит в храм постоянно, не поучается исконно русскому православному поведению, определенному для женщины. А насчет водки, это ты виновата, Наталья.

– Я?!

– Ты выставила водку ему на соблазн, твой грех...

МАРГАРИТА Васильевна возвращалась в тот вечер домой, переполненная впечатлениями. Грех и соблазн, судьбы русской государственности, стихия русской души, покаяние и смирение, литургическая жизнь, высокая ответственность русской интеллигенции, богатство русского языка, его преимущества перед всеми иными языками, – все эти темы, доселе пребывавшие на периферии ее размышлений о мире, были сегодня выплеснуты на нее ливнем цитат, оросившим сухую почву ее шестидесятилетнего полузападнического сознания, и проросли желанием немедленной бурной деятельности на благо отечества.

Вместе с тем, где-то глубоко в душе копошилось смущение, необъяснимое, назойливое, непреодолимое. И, что самое досадное, болела голова.

2.

КОГДА-ТО давно все дома в Колокольцах были деревянными. Как и полагается в лесном краю. Рубленые избы на высоких подклетьях, а то и вовсе двухэтажные, единообразно и гармонично располагались между рыжих стволов гигантских сосен. Единственным каменным зданием в селе был большой белый храм в центре. Другая церковь, кладбищенская, а также часовня в дальних выселках были тоже деревянными.

После гражданской войны в белокаменном храме разместили клуб. Но однажды он выгорел изнутри дотла. Тогда стены разобрали и построили детсад для совхозных детей. Но и там случился сильный пожар. После уже на этом месте ничего не строили.

В шестидесятые годы (как раз во времена битвы за то, чтобы доярки и скотницы ходили на ферму в туфельках) решено было на зачатом месте (ну, чуть поодаль, конечно) поставить новую совхозную столовую. И поскольку деревенский быт тогда, согласно постановлениям партии и правительства, должен был сближаться с городским, то решено было строить здание современное, из стекла и бетона. Допотопный рубленый барак у дороги, где трактористы и командированные, бывало, угощались нехитрыми сырниками и оладьями, с пылу с жару подаваемыми, решено было разобрать. В центре села возвели символ нового быта – "стекляшку" не хуже городской. Сбоку у стекляшки была запроектирована большая асфальтированная площадка чуть выше уровня улицы. По мысли архитектора она предназначалась для летнего открытого кафе. Архитектору, видно, посчастливилось бывать за

рубежами родины, откуда он и вынес столь романтические идеи. Возможно, проект был позаимствован у кого-то из братских европейских народов. Как бы то ни было, площадку возвели согласно проекту. Но столики под зонтиками там так и не появились. То ли столиков не хватило, то ли зонтов не завезли. Опять же, не оставишь на улице без бдительного присмотра столь легко переносимую социалистическую собственность. А, вернее всего, начальство рассудило, что летняя страда на селе – не время прохлаждаться под зонтиками, лишний только соблазн народу поотлынивать от работы. Ни к чему оказалось летнее кафе в деревне. И вот со временем на выщербленных непогодой камнях в трещинах асфальта проросли, где тонкие березки, где чертополох, а края площадки стали использоваться жителями вместо скамейки для ожидания рейсового автобуса или иного чего (автобусную-то станцию упразднили: сначала открыли в ней коммерческую лавку, а потом и вовсе снесли, сидеть в ожидании автобуса стало негде, а тут – подложи дощечку и сиди себе!). Это место стало также излюбленным для времяпрепровождения деревенских алкоголиков и лиц без определенных занятий. Им оно было удобно перекрестным местоположением в сновании туда-сюда всякого люда от одной коммерческой лавки до другой.. Часто сиживал здесь и Генка Вяхирев. Здесь большая была вероятность найти случайную работенку или, что вернее, выставив себя напоказ, ожидать, что работенка найдет работника – разгрузить, к примеру, машину или посторожить что или просто перехватить денег взаймы, стрельнуть сигарету.

Так сидел он однажды душным вязким сентябрьским деньком, одним из тех редких дней, когда воздух неподвижен и сер и время от времени пронизывается мельчайшей безобидной изморосью, но чувства людей бодры и на душе спокойно. Сидел, покуривал крепкие сигареты "Прима" и подумывал, где достать денег на сегодня.

Прошел год с того дня, когда украл Геннадий у брата Григория початую бутылку водки. Долго не появлялся

он у них, но к концу лета был прошен и даже помог брату покрыть крышу новым толем. Однако, отношения продолжали оставаться слегка натянутыми. Наталья все время при нем пилила мужа, говоря, что надо думать, где заработать деньги, без денег нынче никуда, только на дно помойки, и он, Григорий, со своим вечным витанием в облаках и одними только глупостями на уме, утянет ее и детей туда непременно. Генку эти разговоры смущали, но гораздо хуже было другое. Внезапно умерла зимой Катерина. Поболела два месяца и скончалась. От рака. Генка долго не мог поверить в случившееся, в гробу не узнавал он бывшую жену, пока не заколотили крышку, не опустили гроб в землю и звонко, дробно не застучали мерзлые комья земли, бросаемые по обычаю родными и близкими в почин погребения. В тот день Генка напился на поминках мертвецы и после неделю не выходил из запоя, пока не оказался в районной больнице с сердечным приступом. Племянница Настя навестила его один раз в больнице, привезла лекарство. Она была довольна, удалось устроить так, что за Калерией Фроловной будет теперь надежный уход. Она сговорила со своей троюродной сестрой по покойной матери, а бабкиной невестке, что троюродная сестра с мужем и детьми поселится временно в большом доме Калерии Фроловны. Вышло удачно: те-то прошлой зимой погорели и теперь строились да снимали углы, это с двумя-то детьми. А тут дом удобный, стройтесь себе, сколько надо будет, да живите. За бабушкой уход небольшой. Она ходячая, еще себя может обслужить, много ли ей надо, и пенсия у нее приличная, сколько лет в лесу работала, да и бригадиром в совхозе. Удачно все пока выходило, а там видно будет.

Настя как всегда торопилась. Как всегда вырывалась она в родные места с трудом, взяв за свой счет и используя отгулы за невероятно тяжелые переработки. Как всегда дочь ее, Лерочка, оставалась в городе на попечении соседки или подруги.

Из больницы Генка выписался весной с твердым намерением больше не напиваться.

Проходя мимо дома матери уже после выписки, Генка увидел ее лицо в окне. Большие голубые глаза из набрякших, в сетке морщин, век, смотрели мимо него и не узнавали сына. Уже тогда люди поговаривали, что перестала она узнавать близких. Генка зашел в тот день в дом, но не очень ловко чувствовал себя среди чужих людей. Посидел немного и ушел.

Сегодня утром он тоже проходил мимо дома матери. На дворе у Калерии Фроловны было аккуратно прибрано, трава выкошена и сметана в копенки, свеженький некрашенный штакетник желтел вокруг огорода.

ГЕННАДИЙ сидел сейчас, курил и поглядывал в сторону новенького краснокирпичного здания, окруженного клумбами желтых и морковных настурций, увитого плетистым хмелем аж по самую крышу. Это был коммерческий магазин "Хризантема", куда должны бы еще сегодня завезти товар и можно было подзаработать на разгрузке. Но машины все не приходила. Между тем, в доме у него не оставалось даже хлеба, да и сигарет в пачке – всего две штуки.

– Сидишь? – раздался рядом хриплый женский голос, и резкий запах водочного перегара пополам с ароматом съеденного лука ударил в нос. – Все сидишь тут целыми днями. – Рядом с ним приземлилась Надька Лукина, беспутная мать Оли. Еще не до конца растеряв следы былой миловидности, все же воспаленным блеском черных глаз и характерной краснотой опухшего лица она ясно была видна пьянчужкой забубенной.

Оля нынче летом поступила в Питере в финансово-экономический колледж. Григорий Матвеевич сказал на это, что, конечно, она молодец, выдержала большой конкурс, но он также высказал сожаление, что девочка не выбрала стезю искусства, с ее-то способностью к рисованию. Он

посетовал также, что молодежь становится какой-то прагматичной.

– Ну, сию, тебе то что, – бесчувственно отозвался Геннадий на Надькино приветствие.

– И я с тобой рядом присяду передохнуть, – усмехнулась Надька. – Места много.

– Ольга-то моя уехала в Питер, – добавила она через некоторое время. – Поступила в техникум. Назло им всем. Ольга моя – голова. Она еще покажет. Вот. – Язык у нее заплетался, но желание поговорить было явное.

– Ольга у тебя – голова, да мамаша у ей без головы. На что жить будет Ольга у тебя там?

– Картошки я ей дала, потом морковки, свеклы. А дальше она работать будет... где-нибудь, – сникла Надька и через минуту надсадно и отчаянно затараторила – ну, дрянью, дрянью, знаю. Дак у мена на роже написано, кто я есть, я не скрываюся, я вся такая, тут. А эти – чистоплюи, господа, интилихенты, – далее набор известных ругательств завершил эту тираду, так и не придав ей законченного смысла.

– Это про кого ты? – спросил Геннадий, затягиваясь от маленького хабарика и прищулив один глаз от клубов дыма этой последней затяжки. Больше сигарет у него не было.

– Да про твоих, еттих, родственничков, соседей дорогих.

– Ну, и что они тебе сделали не так?

– Мне-то ничего, да Ольгу сбили с панталыку.

– Что-то непонятно, объясни. Чем это сбили?

– А что? Ходила-ходила она к ним. "Олечка-Олечка, такая девочка". – Надька передразнила кого-то хрипловато-тоненьким, нарочито дурным голоском – А как ей определяться, сразу все – конец, нос воротят, такая важность, как бы и чужие вовсе. Моя, бедная, не сразу и поняла, что это с ними. Пока догадалась, так переживала, думала, может, что сказала не то или сделала. Это потом дошло, что ничего она не сделала. А просто испугались они, что навяжется к ним на шею, что придется помогать.

Надька замолчала, молчал и Геннадий. Начал понемногу сеяться мелкий едва ощутимый дождик. Мимо проехала на велосипеде почтальонша.

– Ну и что, – спросил Геннадий после минутного молчания. – Какие у тебя претензии? Почему это ты – мать, ребенок – твой, а помогать ему должен кто-то чужой, какой то дядя? Ты – мать, ты и ставь на ноги дочку, а не водку хлещи.

– Да нет у меня к ним никаких претензий, – растерялась Надька, – но зачем тогда они Ольгу привечали?

– Ну, привечали. Что с того? Ты благодарна должна быть, что привечали.

– А то, что она к ним привязалась.

– Но они-то в чем виноваты? – настаивал Генка. Ему хотелось проучить глупую бабу с ее жалобами, а заодно и поспорить с кем-то внутри себя, кто из глубины настаивал на толике правоты в ее словах. Потому, что он опять не знал, что делать с этой правотой. Она, эта правота, не находила никакой опоры извне – ни в газетных текстах, ни в словах окружающих, ни в иной житейской мудрости, которую он видел повсюду вокруг.

– А в том, – закричала вдруг Надька, – вставив опять набор скверных слов в это вступление, – что мыть-стирать она к ним ходила и для этого только была нужна. Если тебе, блин, мыть-стирать надо, так ты нанимай, как положено, да деньги плати. А не сюсюкай, не обманывай ребенка. Вот. – Она поправила на затылке узел выцветшей косынки, одернула застиранную кофтенку и кажется, была удовлетворена тем, что удалось высказать наиболее болезненное.

Генка молча кивал головой. Ему очень хотелось выпить. Хотя бы кружку пива.

В ЭТО время шел мимо них высокий мужчина средних лет, опрятно и просто одетый в джинсы и футболку, с волнистыми длинными волосами, открывающими высокий лоб и отрешенные серые глаза, с такой же слегка выющейся русой бородой

– Здравствуй, Геннадий, – остановился мужчина и приветливо посмотрел на него, вежливо кивнув Надьке.

– Здорово, – отозвался Геннадий, искоса внимательно поглядывая на подошедшего.

– Работа есть.

– Работа – это хорошо, – вздохнул Геннадий и посмотрел отсутствующим взглядом куда-то в сторону.

– Дрова, уже нарубленные, перетаскать в сарай. Это не сложно. Но уговор, как и прежде. Ты мои условия знаешь.

– Ладно, – сказал Генка, – согласен, что ж.

– Батюшка, – взвизгнула вдруг Надька, – научите меня, пожалуйста, как правильно варить кутью. Кто говорит, что обязательно с медом и орехами, а кто и так, с изюмом, мол, сойдет. Опять же, какая крупа...

– Это не ко мне вопрос, – ответил священник мягко (а это был настоятель местного храма, отец Никифор) – я в кулинарии разбираюсь плохо. И так и так приготавливают. Должно быть зерно, злаки. Вот свечница наша, Нина Владимировна, она мастер. Спросите, и все вам расскажет.

– Сиди, кутья, – цыкнул на Надьку Геннадий, вставая и собираясь идти. – Шары залила с утра, а туда же, вопросы задавать. Лишь бы языком чесать, о чем попало. Протрезвей сперва.

– Ох-ох, какие мы трезвенники.... Давно ли? – закачала головой Надька, но больше говорить ничего не стала.

ЭТО был уже не первый раз, когда Геннадий помогал колокольцевскому батюшке.

Знакомство их случилось месяц назад, прохладным августовским днем, когда Генка бесприютно томился на площади, как и сейчас, докуривая последнюю сигарету. Отец Никифор подошел и попросил покрасить в церкви крыльцо.

– Одно условие, – сказал он. – Денег у меня нет, водки тоже. Но обещаю накормить, дам с собой продуктов и сигарет несколько пачек.

У Генки вариантов в тот день не предвиделось, пришлось согласиться. Сдерживая в душе досаду и желание надерзить этому святоше, как он мысленно назвал уже своего работодателя, Генка поплелся за ним на старое кладбище, где вот уже несколько лет была открыта для богослужений небольшая старинная деревянная церковь. Все-таки даст сигарет. Да и поесть не мешало бы. Хотя без рюмки или хоть стакана-другого пива ничего в рот не полезет.

– Только товарищ святой отец, – выпалил он вдруг с вызовом в спину идущему впереди священнику, – учтите, я неверующий.

Отец Никифор ничего не ответил, молча продолжал идти, и Генка тут же почему-то пожалел об этой своей выходке. И о том, что сказал в дерзком тоне. И о том, что сказал неправду. Не был он благочестивым христианином, но и воинствующим атеистом себя не числил. А так – серединка на половинку. Ни то, ни се.

С тех пор постоянно, общаясь с отцом Никифором, ловил он себя на противоречивых чувствах. У него было и уважение к сану, и симпатия к этому простому и кроткому человеку, который уж во всяком случае, не сделал ему, Генке, ничего плохого. Но вместе с тем невероятно, откуда бралось желание оскорбить или хотя бы задеть священноинока, выкинуть какой-нибудь номер, который бы нарушил это безмятежное и отрешенное состояние, какое-то чуждое, непонятное и не свойское.

И так, испытывая эти внутренние противоречия, еле сдерживаясь иногда, стал он даже сам себя побаиваться и впервые в жизни почувствовал собственную сложность, свою составленность из каких-то разных частей и противоположных желаний. И что требуется сделать какой-то выбор внутри себя. Это было внове.

В тот день, когда состоялось знакомство, придя на кладбище, чтобы красить церковное крыльцо, зашли они сначала в храм. И тут с Генкой случилось и вовсе знаменательное.

Этот храм, в который он вовсе никогда не навещался со времени начала богослужений, и куда он всего несколько раз ненадолго заходил в прежние времена, когда здесь размещался склад могильных памятников, заходил, никогда ничего особенного не чувствуя – этот храм вдруг показался ему хорошо знакомым изнутри, словно он уже здесь бывал когда-то часто и в похожей обстановке. И высокий деревянный шатер над срубом, и окошко высоко наверху, откуда хлынул сейчас неожиданно яркий для пасмурного дня луч солнца. Все было, как будто где-то видено. Только стены теперь покрыты вагонкой и покрашены аккуратно белой масляной краской, кое-где видны скромные напечатанные иконы. А должны быть стены яркими от росписи, от множества ликов, и на хоры, что высоко наверху, должна вести крутая узенькая лесенка, берущая начало почти у самого того небольшого возвышения, на котором находится священник во время службы.

Он оглядывался беспокойно, все пытаясь что-то вытащить со дна памяти.

– А скажите, отец Никифор, – обратился он к священнику, когда красили они после сообща высокое старинное церковное крыльцо коричневой масляной краской, – скажите, как ваши певцы забираются на свой балкон? Лестницы-то нет, вроде, никакой.

– Есть лестница, как же без нее. – ответил, не спеша, батюшка. – Секретная лестница у нас, из притвора, потом через колокольную. Чуть ли не ползком приходится забираться. Неудобно, конечно, зато, сколько места освободили в храме. По праздникам народ набивается даже в притвор. А тут лишние метры.

– Не понял, какие метры.

– Да лестницу старую пришлось убрать. Ту, что с хоров прямо в храм спускалась.

В ту ночь Генка спал беспокойно, часто выходил на крыльцо покурить, вглядываясь в звездное сверкающее небо, а под утро забылся в полусне, и тут увидел. Яркий солнечный луч ореолом светится в седых волосах священ-

ника, играет золотыми нитями облачения, отражается в золоте чаши, которая у него в руках. Чаша все ближе и ближе к Генке. А где же сам он? Да на руках у бабушки, Анны Ефимовны. Вот край ее белого платка совсем близко с Генкиной щекой, пахнет от нее мятой и пирогами. Вспомнилось, как уже после, в храме пытается он повторить жест Младенца с иконы напротив, так же обнять бабушку одной рукой, так же сложить пальчики другой. Не получается. Бабушка не понимает: "Устал, дитятко? Что не сидится?". Он смеется радостно, уткнувшись в жесткую ткань шерстяного жакета на плече. Вспомнился и дед, Фрол Иванович, большой мужчина, с черной густой бородой и густым низким голосом. Вот он спускается с хоров, едва помещаясь на узкой лесенке между стеной и перилами, вот он читает что-то громко, монотонно по громадной книге, положенной на тот длинный ящик со скошенным верхом, что и сейчас стоит в церкви. Видение было ярким как вспышка, и закончилось пробуждением, но было достаточно, чтобы он вспомнил. Вспомнил, как носили его, совсем маленького, в церковь дед с бабкой. Кондаковы была их фамилия. Девичья фамилия матери. Ничего больше не вспоминалось. Имена знал по материным метрикам. Все. Как же так получилось, что в школьном своем детстве гордился он Вяхиревыми, коммунистами, партизанами, фронтовиками, а про Кондаковых и помину в доме не было?

Как-то улучшил он минуту и спросил отца Никифора, известна ли судьба последнего священника из колокольниковской церкви в советское время. Сам то он знал, что церковь закрыли перед войной.

— Известно очень мало, — сказал батюшка, — в тридцать восьмом году их обвинили в антисоветском заговоре. Тогда такие обвинения были нередки и по большей части совершенно напрасны. Всех забрали: и настоятеля, и дьякона с семьями, и псаломщика, и сторожа, и двадцатку. Дальше следы теряются. Не вернулся никто. Главные архивы до сих пор закрыты.

— А что за двадцатка?

– Прихожане. Их по тем законам должно было быть не менее двадцати человек, чтобы церковь не закрыли.

– Что ж архивы то не рассекретят?

– Видите ли, Геннадий Николаевич, многие палачи еще здравствуют и дети их благоденствуют. Ради их спокойствия и проявляется такой гуманизм. Зачем, мол, ворошить прошлое, кого-то расстраивать. Мертвых, мол, не вернуть.

– Хорошенькое дельце, не расстраивать.... Люди сгинули за так...

– Не за так, Геннадий Николаевич, – мягко оборвал его батюшка, – не за так.

Батюшка объяснил: если человек умирает за веру или за другого человека, если стоит в правде до конца, то удостоивается венца в жизни вечной и становится молитвенником за нас, живущих на земле.

Они сидели тогда на высоком берегу реки. День был теплый, ласковый и необыкновенно яркий. Желтела и багровела празднично повсюду листва. Безмятежное голубое небо отражалось в сонной поверхности воды. Было тихо, и батюшка сказал тогда

– У Господа все живы.

В ТОТ памятный уже сентябрьский день, который случился позднее, когда подходили они к воротам кладбища, возле которых почти на самой дороге была навалена куча колотых дров, стал накрапывать дождик. Не та изморось, что просачивалась сквозь густой душный воздух с самого утра, а полновесные холодные капли, которые и слились вскоре в настоящий дождь. Генка и батюшка, перетаскав дрова в сарай с другой стороны кладбища, основательно промокли и пошли пить чай в сторожку при кладбище, где жил отец Никифор.

В маленькой кухне домика на два окошка было сухо и чисто. Выбелена печь, вымыты полы, белые полотенца вокруг. В углу – небольшой образ. Спас, благословляю-

ший хлеба, как сказал батюшка. Генке всегда казалось сказкой евангельское повествование о том, как пятью хлебами было накормлено несметное количество народу. Но сейчас, прихлебывая чай из большой кружки, он почувствовал, что почему-то верит: именно так оно все и было. Уверенность эта имела какой-то простой и ясный источник. В самом деле, на то Он и Господь, что ему все возможно.

Пили чай молча. Геннадий не притронулся ни к творогу, ни к сыру, предложенным ему. Так, хлебал себе горячее.

– Батюшка, вот вы умный и ученый, – сказал он вдруг. – Тогда скажите, почему же люди не живут хорошо?

– Бога не знают.

– Что же мешает узнать?

– Ложь, Геннадий Николаевич, ложь мешает.

– Так откуда же она, эта ложь, идет?

– Отовсюду, причем не только из книг и речей, а даже из наших собственных мыслей, а часто из нашего собственного желания обмануться. Или обмануть других, как бы и не обманывая. Один великий старец сказал, что можно лгать мыслью, можно лгать словом, а можно лгать всей жизнью своею.¹

– Хорошо сказано, точно. Всей жизнью лгать, это, правда, так и есть, сплошь и рядом. А вот как мыслью. Не совсем понимаю.

– Принимать свои предположения, часто пустые, часто внушенные кем-то, часто от греха нашего идущие, принимать их за истину. И самое тяжелое, Геннадий Николаевич, что проникает эта ложь внутрь нас и гнездо себе там свивает прочное. И живем мы с нею как с родной себе, производной от себя. И руководит она нами.

– Как же излечиться от нее, заразы?

– Покаянием.

– Это что ж – рассказал о грехах и все, изменился, стал другим. Нет, что-то не верится.

¹ Аввы Дорофея душеполезные поучения. Поучение девятое. (авт.)

Генке хотелось курить, и он знал, что батюшка разрешит ему закурить здесь. Но было невозможно нарушить чистоту и благость этого иноческого жилища. И на крыльцо выйти, прервать разговор было тоже невозможно.

– Не просто рассказать о грехах, – возразил отец Никифор, – а с ненавистью ко греху, с желанием освободиться.

– Что, прямо так рассказал и сразу освободился? Невозможно.

– Освободит Господь, видя искреннее покаяние. Ему нет ничего невозможного.

– Так если грехов море уже за всю жизнь. Если жизнь уже прожита, и прожита гадко, да что ж тут можно сделать? – Он сам не заметил, что почти кричит, а на глазах выступили слезы.

– Тогда и покаяние должно быть большим.

– А если все равно не простится?

– Нет греха, превосходящего милосердие Божие, – сказал батюшка, и опять воцарилось молчание. За чисто вымытыми стеклами маленького окошка сыпалась охапками и разлеталась на ветру разноцветная листва.

Батюшка смотрел в окно отсутствующим взглядом и словно бы что-то говорил про себя, неслышно.

Геннадий подумал, что вот настал момент, когда надо принимать какое-то решение. Потому что дана сейчас эта слабенькая надежда. Потому что другой случай может и не представиться.

– Ладно, – сказал он, перевернул пустую чашку на блюдце, отодвинул блюдце в сторону, встал, приосанился. – Ладно, спасибо за хлеб-соль, теперь ведите меня, куда надо, спрашивайте, что положено. Готов отвечать. Может, еще не поздно что исправить. Помирать мне скоро, боюсь прежним уходить туда.

Сыпалась охапками и разлеталась на ветру разноцветная листва. Крупные капли стучали в маленькое окно иноческой кельи отца Никифора.

Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое...

3.

ГЕННАДИЙ Николаевич Вяхирев умер зимой следующего года, незадолго до праздника Крещения. Он был найден замерзшим в снегу на обочине дороги недалеко от Вихляевщины. Говорили, что по определению врачей причиной смерти был сердечный приступ, и не оказанная вовремя помощь. Кто-то вспоминал его добром, говоря, что хороший был человек, хоть и непутевый. Иные качали головой и говорили, что, верно, был он опять сильно пьян. А другие возражали, что в последнее время пьяным его и не видел никто.

Оставим людям судить да рядить, тем более, что правды уже не узнает никто, и перейдем к другим нашим персонажам.

Калерия Фроловна Вяхирева ненадолго пережила сына. Весной того же года и она закончила свой земной многотрудный путь. По ее кончине выяснилось, что имеется завешание. А по вскрытии оно было оглашено, что дом Калерии Фроловны переходит по наследству в собственность двоюродной племянницы ее покойной невестки. О Насте в завещании не упоминалось. Дом был вскоре выставлен на продажу (племянница к тому времени уже отстроилась и жила с мужем и детьми в новом доме на центральной усадьбе), и цена была назначена немалая для тех заброшенных мест. Аж две тысячи долларов. Поговаривали, что с ценой они хватили через край, не купят здесь за эту цену. Но продавец был терпелив, и покупатель через некоторое время нашелся. Какой-то профессор медицины, светило и большой любитель рыбной ловли.

Евдокия Марковна Еремеева, лишившись дочери, а вскоре и беспокойного соседа, ничуть не изменила сво-

их привычек. Все так же хлопотала она по хозяйству, все так же везде поспевала на своих тоненьких кривоватых ножках, все также обихаживала свой огород с самых первых весенних деньков до первой пороши. Но однажды случился с ней инсульт, и она, хоть осталась жива, но лишилась возможности двигаться. Ни жена, ни теща внука ее, Андрея, не сочли возможным брать ее в свою квартиру (куда в такую тесноту, да и на работе все днем), и пришлось бабушку определить в местную больницу на так называемое социальное отделение, специально открытое недавно для никому не нужных старух. Дом, где жила Евдокия Марковна с непутевым своим разведенным зятем, стоит теперь пустой. Его не сдают (невыгодно, цена низкая, а хлопот не оберешься). Но огород исправно засаживают, и каждую осень Андрей Геннадьевич Вяхирев вывозит на своей "Ладе" с этого огорода мешками картошку. Огород хороший, земля добрая.

Настя, приезжая на родные могилы, останавливается у школьной подруги.

Григорий Матвеевич и Наталия Максимовна Вяхиревы живут в Санкт-Петербурге. Они неплохо зарабатывают подготовкой абитуриентов к поступлению в тот самый, из наиболее престижных, вуз, где неизменно держит нити управления Зинаида Леоновна Закржевская, миниатюрная старушка в больших очках и с неизменно аккуратной укладкой благородных седин. Наталия Максимовна и сама уже преподает там. Конкурс большой, поэтому Вяхиревы берут в ученики только круглых отличников, способных платить по сорок долларов за час подготовки. При этом они неизменно подчеркивают, что не составляют протекции, а только учат. Но все равно, отбою от желающих получать у них уроки нет.

Григорий Матвеевич Вяхирев опубликовал недавно за свой счет собственные философские почвеннические размышления о русской деревне и раздарил их знакомым. Он стал, как и мечтал, писателем.

Старшая дочь Вяхиревых, Лиза, благоразумная девица, очень похожая на мать и внешностью и характером, заканчивая этот самый, престижный вуз, озаботилась своим будущим, и нынешним летом проходила уже свою практику не где-нибудь, а в Смольном, в администрации губернатора. Она мечтает выйти замуж за миллионера и уехать куда-нибудь далеко.

Средняя дочь Вяхиревых, Светлана, не так успешна. Поступив, она прогуляла первую же сессию, и ей пришлось устраивать академический отпуск для чего оформлять больничный лист с какой-то несуществующей ужасной болезнью. Это стоило немалых денег. Но и на второй год Светлана не стала сдавать экзамены. Больничный лист был уже неподдельным. Светлана попала в клинику для наркозависимых, куда пришлось ее срочно устраивать, одновременно освобождая от уголовной ответственности за участие в кражах из супермаркетов. В разговоре с психотерапевтом она призналась, что ненавидит своих родителей и делает все, чтобы испортить им репутацию. Родители хотели было отвезти ее в подмосковный монастырь, где по слухам один старец хорошо отчитывает одержимых, но что-то все у них не получалось, и духовник не благословил это делать. Дочь Светлана – головная боль для Вяхиревых.

Алена и маленькая Наташа посещают гимназию, где завучем Маргарита Васильевна Быстрова. Маргарита Васильевна отправила свою взрослую дочь продолжать образование в Великобритании, но у себя в гимназии поддерживает и развивает патриотические традиции, и нынешним летом даже устроила поездку группы учеников на остров Валаам. Сама она тоже приняла участие в поездке, и знаменитый остров произвел на нее неизгладимое впечатление.

Каждое лето Вяхиревы живут в Вихляевщине (те из них, конечно, кто не проводит отпуск или каникулы за границей или не отбывает там служебную командировку). К ним частенько заходит муж тетки Антонины – Василий.

Мужик он рукастый и добросовестный, хотя и сильно пьющий.

Оля Лукина, закончив финансово-экономический колледж, не нашла работы в Петербурге, так как для этого необходимо иметь питерскую прописку. Вяхиревы предложили ей жить у них бесплатно, только помогая по домашнему хозяйству. Оля отказалась, и попыталась устроиться в районном центре у себя на родине, но и там надо было снимать жилье, а денег у нее не оставалось совсем. Тогда она вернулась в Колоколыцы и сейчас работает продавцом в ларьке. Живет Оля со своими родителями. Родители по-прежнему пьют.

Каждый вечер субботы и каждое утро воскресного дня, а также по праздникам в селе Колоколыцы слышится благовест. Гулкий протяжный звук в хорошую погоду разносится далеко окрест. Словно небесная таинственная струна натянута над изумрудными массивами лесов, над крутыми холмами, над стеклом спокойной обмелевшей реки в ложбине, над серокирпичной водокачкой на том берегу, над темной силосной башней, над вышкой мобильной связи, возведенной недавно незнакомыми, франтоватыми и веселыми, людьми к восторгу местных мальчишек и праздных зевак. Звучит над всяким жилищем людей, над убогими домишками и крепкими особняками. Кто-то, занятый ежедневными заботами, не заметит этот привычный звук, другой отвлечется на минуту от своих дел и мыслей и подивится незнакомому торжественному чувству, на мгновение вторгшемуся в хаос души, третий неожиданно для себя положит крестное знамение, вспомнив, о Ком благовестит деревенский колокол, четвертого звон застанет уже в пути, спешащим в гору, к маленькой деревянной кладбищенской церквушке, пятый будет уже в эту минуту в храме возжигать свечи. Совсем небольшое число людей соберется для общей молитвы.

Батюшка Никифор иногда говорит странные слова, например, что соли много не надо, но она должна быть соленой. Перестанет, дескать, соль быть соленой, тогда

беда будет. Некоторые считают, что батюшка Никифор не совсем в своем уме. Другие уважают его, идут к нему за советом.

Богослужения в храме совершаются неопустительно.

Июнь-ноябрь 2003

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ ВО ТЬМЕ	3
ДНЕВНОЙ АВТОБУС НА КОЛОКОЛЫЦЫ	12
ВЗОШЛА ЗВЕЗДА ЯСНАЯ.....	30
ЗАПИСКА	45
ЧАС ВЕЧЕРНИЙ	58

Марина Балуева
ЧАС ВЕЧЕРНИЙ
(рассказы и повесть)

Верстка Е.Ильина

ISBN 5-8220-0018-5



Подписано в печать 11.04.06 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Печать ризографическая. 6,75 п.л.

Тираж 1000 экз. Заказ №69.03

Издательство: ООО «Издательство Русь»,
190031, Санкт-Петербург, Столярный пер., д. 18/69, А/Я 707.

Home page: www.rus-izdat.ru. E-mail: itr_rus@mail.ru

ИД № 03768 от 17.01.2001 г.

Отпечатано в типографии ООО «Издательство Русь».

ПД № 2-69-513 от 29.05.2000 г.